

## **В форуме «Теоретические и прикладные исследования» приняли участие:**

**Юрий Евгеньевич Березкин** (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН / Европейский университет в Санкт-Петербурге)

**Николай Борисович Вахтин** (Европейский университет в Санкт-Петербурге)

**Виктор Семенович Вахштайн** (Государственный университет — Высшая школа экономики, Москва)

**Борис Ефимович Винер** (Социологический институт РАН, Санкт-Петербург)

**Владимир Яковлевич Гельман** (Европейский университет в Санкт-Петербурге)

**Иван Александрович Гринько** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова)

**Нора Дадвик (Nora Dudwick)** (Всемирный банк, Вашингтон, США)

**Мелисса Л. Калдвелл (Melissa L. Caldwell)** (Университет Калифорнии, Санта-Круз, США)

**Игорь Валерьевич Кузнецов** (Кубанский государственный университет, Краснодар)

**Александр Викторович Марков** (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова)

**Наталья Ивановна Новикова** (Институт этнологии и антропологии РАН / ООО «Этноконсалтинг», Москва)

**Татьяна Захаровна Протасенко** (Социологический Институт РАН, Санкт-Петербург / Администрация и Законодательное собрание Санкт-Петербурга)

**Давид Иосифович Раскин** (Санкт-Петербургский государственный университет / Российский государственный исторический архив, Санкт-Петербург)

**Павел Васильевич Романов** (Государственный университет — Высшая школа экономики, Москва / Саратовский государственный технический университет)

**Андрей Львович Топорков** (Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Москва)

**Валентина Георгиевна Узунова** (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН)

**Ревекка Марковна Фрумкина** (Институт языкознания РАН, Москва)

**Джулия Хеммент (Julie Hemment)** (Университет Массачусетса, Амхерст, США)

**Татьяна Владимировна Черниговская** (Санкт-Петербургский государственный университет)

**Виктор Александрович Шнирельман** (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва)

**Сергей Анатольевич Штырков** (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН / Европейский университет в Санкт-Петербурге)

**Елена Ярская-Смирнова** (Государственный университет — Высшая школа экономики, Москва / Саратовский государственный технический университет)

## Теоретические и прикладные исследования

### ВОПРОСЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

В последнее время все чаще констатируется отчуждение социальных и гуманитарных наук (антропологии, социологии, истории) от жизни людей. Ключевые понятия, ранее бывшие общими для всех (такие как *народ*, *общество*, *культура*), медленно, но верно уходят из научного языка. Их место занимают всевозможные «конструкты» и «воображаемые сообщества». Иными словами, наши науки и читающая публика все в большей степени говорят на разных языках и, как следствие, все меньше «видят друг друга». Даже интересующиеся наукой люди перестают чувствовать ее влияние, а она — ощущать свою нужность им.

Вместе с тем такая картина не вполне адекватно отражает сложившуюся ситуацию. Дело не только в том, что «нужность» и «полезность» могут пониматься по-разному, но и в том, что в антропологии, социологии и других дисциплинах издавна существуют не только теоретические и описательные, но и прикладные исследования, ориентированные самым непосредственным образом на нужды разных сообществ. Это одновременное отчуждение и приближение побудили редколлегию сформулировать следующие вопросы.

- 1** *Каждый из нас (антрополог, социолог, лингвист и др.) стремится заниматься тем, что ему интересно. Как вы думаете, то, что интересно для вас, имеет какое-то значение для других (в частности, для неспециалистов — тех, кто вовсе непричастен к нашим наукам)? Приходилось ли вам объяснять смысл ваших исследований неспециалистам? Ощущаете ли вы необходимость обоснования нужности и / или полезности своей работы?*
- 2** *В социальных науках существуют разнонаправленные векторы развития. Теоретическая антропология (социология, лингвистика...) занимается «высокой наукой», не обращая особого внимания на окружающую жизнь. Прикладные варианты этих дисциплин, напротив, максимально «приземлены» и настроены таким образом, чтобы улавливать сиюминутные нужды общества и реагировать на них. Но это слишком грубая картина. Как соотносятся теоретические и прикладные исследования в той области, которой вы занимаетесь, и каков статус того и другого? Существуют ли здесь «поколенческие предпочтения»? К какому из двух направлений вы относите себя?*
- 3** *При написании заявок на гранты, в авторефератах и в некоторых других случаях приходится писать о «практической значимости» исследования. Как вы поступаете в этих случаях? И шире: как вы себя позиционируете «для внешнего взгляда», когда этот взгляд ожидает от вас описания практического применения вашего исследования? В какой «маске» представляете перед другими? Эксперта? Знатока? Творца нового знания? Хранителя традиции?*
- 4** *Считаете ли вы существующие критерии выделения грантового финансирования полностью адекватными сегодняшнему (и завтрашнему) вектору развития науки? Чем (кем) определяются эти критерии? Кто, в конце концов, кого определяет, кто задает теоретические или прикладные направления научных исследований: ученые или те, кто формулируют «приоритеты» грантодающих организаций?*
- 5** *Статус прикладных исследований в некоторых традициях (прежде всего в США) существенно иной: например, антропологи работают не только в университетах и научных учреждениях, но и в крупных компаниях, государственных организациях, школах, медицинских учреждениях и т.д. Как вы думаете, чем объясняется неразвитость прикладной антропологии в России?*

**ЮРИЙ БЕРЕЗКИН****1**

Результаты научной работы тем легче объяснить и сделать интересными для неспециалиста, чем они важнее и интереснее для самих исследователей. Методика работы и научный аппарат могут быть сколь угодно сложны, но результаты, если это наука, а не философия или что-то еще, должны быть общепонятны. Я не вижу особой проблемы в том, чтобы рассказать 12-летнему школьнику, как развивалось человечество за последние 50 тысяч или 50 лет, почему важно определить, когда и кто первым пришел в Америку, и что нового пооткрывали археологи, например, после 1990 г. Если немного самому почитать, то и систему элементарных частиц, природу гаммавсплесков или устройство хромосомы объяснить, вероятно, сумею. Есть, разумеется, вовсе тупые и ко всему безразличные люди, но нормальному человеку даже и без высшего образования очень даже интересно узнать, как устроен наш мир и как он возник. Высшие млекопитающие от природы любопытны, и удовлетворение этого любопытства связано с положительными эмоциями.

**Юрий Евгеньевич Березкин**  
Музей антропологии  
и этнографии им. Петра  
Великого (Кунсткамера) РАН /  
Европейский университет  
в Санкт-Петербурге  
Berezkin1@gmail.com

Объяснять смысл собственных исследований бывает трудно лишь потому, что мое направление в науке, что называется, междисциплинарное: результаты важны для археологов и генетиков, а материал взят у фольклористов. Поэтому за минуту не объяснишь, но за десять уже вполне.

Объяснять полезность работы приходится главным образом самому себе: если становится неинтересно, значит, что-то неправильно. Т.е. лично я могу работать плохо или заниматься не тем, чем следует, но наука как законное поле деятельности и как высшая и безусловная ценность в защите не очень-то и нуждается. Каким-то удивительным образом наука в России в XVIII в. появилась, и корни ее здесь с тех пор не так-то просто поковырять. Зарплата научного работника может вызывать ухмылку («И живет-то он не в Дубне атомной, а в НИИ каком-то под Каширою»), но само занятие наукой и ныне престижно.

**2** Отвечать на данный вопрос трудно, поскольку мое направление никаких практических приложений заведомо не имеет. Альтернативные направления работы связаны с выбором метода, целей исследования, принадлежностью к определенной школе и пр., но все эти направления одинаково далеки от узко понимаемой практики, т.е. они ничьи деньги не экономят и ничьи жизни не спасают. Но практику можно понимать шире. Научная работа требует постановки конкретных вопросов и добывания конкретных ответов. Чем яснее вопрос и чем понятнее и надежнее ответ, тем работа, если угодно, практичнее. Если же исследователь не может сказать, что, собственно, он или группа коллег, с которой он связан, открыли, то это будет означать отсутствие практических результатов.

**3** Об отношении к практике я уже написал. Я не эксперт: мои знания, может быть, достаточно широки, но недостаточно систематичны. И не хранитель традиции: я, как и все, многим обязан учителям и старшим коллегам, но никакой научной эстафеты мне никто не передавал. Поэтому остается «творец нового знания», хотя всерьез относиться к столь торжественному титулу было бы нелепо.

**4** Каких-то серьезных претензий к критериям грантового финансирования у меня нет. Я несколько раз получал достаточно крупные гранты и благодарен людям, которые благосклонно отнеслись к нашим заявкам, но кто эти люди конкретно и какие именно обстоятельства принимали они во внимание, я не знаю. Сама же система грантового финансирования имеет свои хорошо известные плюсы и минусы. Главный плюс — она заставляет интенсивней работать и четче формулировать исследовательские задачи. Минусы — тратится много времени и сил

на заявки и отчеты, а максимальное отпущенное на решение задач время (три года) далеко не достаточно для завершения большинства проектов. Финансовая отчетность по грантам, как это водится в России, сопряжена с множеством idiotских требований и ограничений. Научные коллективы, члены которых приписаны к разным учреждениям и тем более прописаны в разных городах, в таких условиях вообще не могли бы работать. Но суровость законов, как всегда, отчасти смягчается возможностью уклониться от их исполнения.

5

Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать, чем конкретно занимаются «прикладные антропологи» в США и каковы практические результаты их деятельности. Предположим, что КПД их высок и они помогают разрешать этнические конфликты, завозить в супермаркеты востребованные в данном районе товары и т.п. С трудом представляю, чтобы подобная деятельность имела практический смысл в нашем авторитарном, коррумпированном и не склонном к поиску компромиссов обществе.

## НИКОЛАЙ ВАХТИН

Одно предварительное замечание: объединенные в вопросах редколлегии в одну группу «антрополог, социолог, лингвист и др.», скорее всего, находятся в очень разных ситуациях, и их ответы будут разными, особенно в сфере соотношения прикладных и теоретических исследований. Все мои ответы даны с точки зрения скорее лингвиста (и немножко антрополога). Впрочем, «ответами» их вряд ли можно назвать: это скорее комментарии и размышления, потому что ответить на предложенные вопросы довольно сложно (кроме последнего).

1

Мне кажется, что это иллюзия, что смысл профессиональных исследований можно объяснить неспециалисту. Точнее, тут ловушка в слове «объяснить»: известно ведь, что есть три уровня «понимания»: когда тебе кажется, что ты понял, когда ты можешь

пересказать услышанное другому и, наконец, когда ты можешь раскритиковать услышанное, найти ошибки в рассуждениях. Для неспециалиста доступен, мне кажется, в лучшем случае только первый уровень: ему кажется, что он ухватил смысл. Соответственно, даже если мне удалось «объяснить» смысл своей работы неспециалисту, я не могу рассчитывать на то, что этот неспециалист потом, рассказывая дальше то, что он, как ему кажется, понял, не исказит невольно смысл. Он исказил — и пошло-поехало. Некое знание, наблюдение, открытие начинается жить своей отдельной жизнью среди неспециалистов, которым «кажется, что они поняли». Результаты этого процесса могут быть вполне фантастическими, а то и катастрофическими. Примеров приводить не стану — желающие могут прочитать статьи академика А.А. Зализняка последних лет, некоторые из которых теперь собраны под одной обложкой (см.: [Зализняк 2010], а также: [Зализняк 2009] и др.).

Совсем другой вопрос — обоснование нужности, практической полезности своей работы. Такое обоснование мне приходилось представлять многократно, и лингвисту тут проще, чем кому бы то ни было, особенно лингвисту, занятому описанием мало описанных языков. Побочным для самого исследователя, но центральным (с точки зрения «полезности») результатом его работы могут быть школьные учебники, учебные пособия, словари, алфавиты и орфографии и т.п. Несколько труднее социологу или антропологу, даже *социолингвисту*. Мне недавно пришлось оппонировать на защите одной очень интересной диссертации, посвященной языковой ситуации в условиях билингвизма [Morgunova 2010]. Во время дискуссии второй оппонент задал вопрос о практической значимости, и автор честно призналась, что вопрос ставит ее в тупик. Это бывает довольно часто, а ведь в заявках на гранты всем нам приходится эту практическую значимость придумывать.

2

Меня давно занимает в связи с этим один вопрос. Точные науки, которые, несомненно, являются как минимум не менее теоретическими, чем социальные, и точно так же мало внимания обращают на окружающую жизнь, за последние 200 лет своего развития выработали интересный способ взаимодействия с этой окружающей жизнью. Между результатами теоретической физики (химии, биологии) и производством (процессоров, полимерных материалов, лекарств) лежит огромная, отдельная и сложная область — технология. Это тот самый интерфейс между теоретическим знанием и практическим применением: этому специально учат на специальных факультетах, соответствующие специалисты работают «с обеих сторон» — и в институтах, занятых теоретическими проблемами, и в ком-



паниях, занятых производством. Более того, есть специальные фирмы, которые ничем, кроме технологии, не занимаются. Технология призвана ответить на вопрос, как именно теоретические результаты, открытия и прорывы могут быть использованы практически.

Конечно, это идеальная картина: в реальности, особенно в России, путь от идеи до внедрения часто оказывается не просто долгим и трудным, а вообще непроходимым. Этому посвящен недавно подготовленный доклад экспертной группы Европейского университета<sup>1</sup>, из которого мне хочется привести две цитаты:

*Коммерциализировать инновационную идею, выстроить работающую цепочку от идеи до товара, совместить роли изобретателя и менеджера — подобная задача традиционно трудна для ученых из российского инновационного сектора (С. 10). И вторая: В стране образовалось слишком много Кулибиных, и осталось слишком мало Королевых, а Эдисоны или Форды так и не появились (С. 7).*

Причины такого положения дел, по мнению авторов цитируемого доклада, и в традиционном нежелании и неумении российских ученых заниматься «низкими» жанрами — пробиванием, внедрением, маркетингом, и во взаимном недоверии ученых и предпринимателей, и много еще в чем. Однако в точных науках есть хотя бы *осознание* того, что такой «интерфейс» необходим, осознание того, что его отсутствие является тормозом не только для инноваций, но и вообще для развития страны.

Никакого подобного осознания в социальных (и гуманитарных) науках пока что нет, а пора бы: без такого «интерфейса» вряд ли удастся решить «проблему теории и практики». Вот, к примеру, осознала современная социальная наука реальность того, что редколлегия «Форума» назвала «всевозможные “конструкты” и “воображаемые сообщества”». Ну, и где те «технологии», которые придумают, разработают и внедрят в практику эти немаленькие идеи, чрезвычайно полезные не только для практических работников в области образования, но и для политиков, госслужащих, журналистов? Или дошли социолингвисты до понимания того, что символическая ценность языков в ситуации многоязычия слабо коррелирует со степенью владения этими языками. И где те «технологии», которые объяснят непрофессионалам, какие последствия это осознание имеет для их повседневной жизни, объяснят работникам образова-

<sup>1</sup> История технических прорывов в Российской империи в XVIII — начале XX в.: уроки для XXI в.: Доклад ЕУСПБ для ГК «Роснано», сентябрь 2010. Рукопись.

ния, каковы следствия из этого открытия для практической школьной работы в районах Крайнего Севера? Нет таких технологов. А жаль. В отсутствие этого промежуточного звена заниматься практическим применением, прикладной интерпретацией того или иного открытия приходится либо самим ученым, которые редко умеют это делать хорошо (просто потому, что это отдельная специальность, этому нужно учить, это тоже профессия, и тут есть (должны быть) свои профессионалы), либо практикам, так сказать, на самом производстве, что тоже плохо, потому что практики не всегда способны понять смысл открытия (см. пункт первый).

Я не знаю, как должна выглядеть эта «технология» в социальных науках. Возможно, удачной формой этого является недавно появившийся в Петербурге, в Европейском университете, «Институт проблем правоприменения», в котором работают профессиональные социологи-«теоретики», но продукцией которого являются главным образом отчеты (вроде цитированного выше), меморандумы и публикации в СМИ, ориентированные на юристов-практиков, политиков-практиков и т.п.

Интересно подумать над вопросом, что могло бы стать аналогом такого института в антропологии. Что-то похожее на московский «Этноконсалтинг», исполнительным директором которого уже много лет является Н.И. Новикова?

Этот же вопрос стоит и для лингвистики: просто составлять словари и школьные учебники мы умеем, однако серьезные научные открытия в лингвистике (социолингвистике, психолингвистике), которые, вопреки общему мнению, по-прежнему случаются, не всегда доходят до практического применения. Как довести их до практики, по возможности не через сто лет, а поскорее, я, честно говоря, не знаю.

**3**

Тут есть один любопытный аспект, подслушанный мною недавно в разговоре с коллегами. Антрополог Алекс Кинг, работающий в университете Абердина в Шотландии (он же главный редактор журнала “Sibirica”), рассуждая о практической полезности антропологических исследований, сетовал на такой парадокс. При написании Ph.D.-диссертаций и при написании заявок на гранты западные фонды (как и ВАК) в обязательном порядке требуют «практической значимости»; при этом ученые советы университетов при решении вопросов, связанных с повышением в должности, предоставлением постоянного места в университете и т.п., ориентируются на совсем другие критерии: число книг в престижных издательствах, главным образом книг научных, а не популярных; число публикаций в реферируемых научных же журналах; на то, что можно назвать «вес в научном мире».

Получается, что «практическую значимость» ученый обязательно должен придумать, но она никак не влияет на его научный рост. Наоборот, мешает, так как отнимает время, отвлекает от того, что реально учитывается в его карьерном росте. Эта ситуация, видимо, универсальна для современного научного мира. Ученый, увлекшийся «практической» стороной исследований, например написанием школьных учебников или популярных книг, рискует довольно быстро растерять научную репутацию среди коллег; это может себе позволить только тот, кто уже поднялся «в заоблачные выси» и чьей репутации уже ничто не может поколебать.

Что касается меня, то я уже говорил, что лингвистам легче, особенно если они занимаются документированием того, что называют *endangered languages*: для нас эта проблема не стоит.

4

Мне кажется, что слишком упрощенным является представление об ученых и грантодающих организациях как о двух противостоящих друг другу и непересекающихся лагерях, стоящих в боевых порядках друг против друга. Такое, конечно, бывает, но все же это не единственный вариант отношений.

Варианты отношений между учеными и фондами можно представить в виде некоторой шкалы, на одном конце которой царит мир и согласие. Вот пример. Мне недавно пришлось принимать участие в международном семинаре, целью которого было планирование направлений и изучение способов финансирования исследований в области североведения (оно же Arctic Studies). На этот семинар собралось человек пятнадцать ученых со всего мира и человек шесть — представителей серьезных международных и национальных научных фондов. Обсуждение шло на равных: ученые и чиновники вместе формулировали направления исследований, на которые следует ориентироваться при написании заявок; эти направления станут, можно надеяться, на ближайшие годы приоритетами участвовавших в обсуждении фондов.

Это, конечно, идеальный случай: так бывает далеко не везде. Однако мне кажется, что и в других областях можно было бы подумать об аналогичных «форумах», на которых ученые и представители фондов могли бы обмениваться своими представлениями о критериях выделения грантового финансирования, о приоритетах на ближайшие годы.

На другом конце условной шкалы лежат ситуации, когда «хвост виляет собакой»: мнение фонда оказывается определяющим для выбора направлений научных исследований. Смена руководства того или иного фонда может в этой ситуации привести к полной смене приоритетов этого фонда, и направления

исследований, десятилетиями финансировавшиеся этим фондом, неожиданно оказываются за бортом. Конечно, фонд консультируется со специалистами, у каждого фонда есть консультативный совет, но окончательное решение все же за чиновниками, которые часто зависят от мнения президента фонда или его Совета директоров. И если Совет директоров считает, что следует выделять средства на исследования цыган, или гендера, или социальных проблем Африки, у ученых не остается иного выхода, кроме как становиться специалистами в этих областях и подавать соответствующие заявки.

Спасает тут только разнообразие фондов, которых во всем мире много, и даже в России становится все больше, так что если у одного фонда вдруг возникает необъяснимая склонность (или наоборот, антипатия) к исследованиям в той или иной области, можно обратиться в другой фонд.

5

Наконец-то простой вопрос. Незрелость прикладной антропологии в России объясняется незрелостью в России антропологии вообще. А также социологии, социальной психологии, социолингвистики и прочих общественных наук. Вряд ли нужно объяснять, почему это так.

#### Библиография

*Зализняк А.А.* О профессиональной и любительской лингвистике // Наука и жизнь. 2009. №1. <<http://www.nkj.ru/archive/articles/15245/>>; № 2. <<http://www.nkj.ru/archive/articles/15352/>>.

*Зализняк А.А.* Из заметок о любительской лингвистике. М.: Русский Мирь, 2010.

*Morgunova D.N.* Dynamics of Talk in two Arctic Villages: Minorities' Resistance to Dominance in the Russian Federation and the United States. University of Copenhagen, Faculty of Humanities, 2010.

## ВИКТОР ВАХШТАЙН

**К логике демаркации: «зеленая линия»  
социальных наук**

Один из парадоксов современной науки состоит в следующем: *то, как разные дисциплины мыслят соотношение прикладного и теоретического знания, кажется, не имеет отношения к самому содержанию знания.* На первый взгляд, говоря о чем-то как о «прикладном» или «теоретическом», мы лишь производим некоторую конвенциональную номинацию, следуя логике своей дисциплины. Можно подумать, что основание этого различия лежит скорее в архитектуре социальных наук, нежели в характере производимых ими исследований.

Чем задается эта граница? На основании каких критериев наблюдатель (все равно, «свой» или «чужой», «внутренний» или «внешний») отличает прикладное от теоретического? Есть ли вообще универсальные критерии подобного различения?<sup>1</sup>

Ответ на эти вопросы я начну с весьма тривиального утверждения: различие «прикладного»<sup>2</sup> и «теоретического» в социальных науках *конtingентно*. В разное время граница между этими двумя территориями проходила в разных мирах и задавалась принципиально различными критериями, однако она всегда больше напоминала линию фронта, нежели контуры мирно сосуществующих поселений. В зависимости от критерия различения оппозиция «прикладное / теоретическое» может означать «английское / немецкое», «этнографическое / социологическое», «ангажированное / неангажированное» и т.п. Как показывает история наших дисциплин, границы «теории» и «практики» с легкостью находят

**Виктор Семенович Вахштайн**

Государственный университет —  
Высшая школа экономики,  
Москва  
avigdor2@yahoo.com

<sup>1</sup> Даже если мы насильственно ограничим понимание «универсальности» таких критериев предела-ми одних лишь социальных наук.

<sup>2</sup> Конечно, правильнее было бы говорить о триаде «теоретическое — эмпирическое — прикладное». Но различие прикладного и эмпирического в данном контексте мы выносим за скобки.

опору в национальных, дисциплинарных, классовых или партийных границах (хотя, вероятно, никогда не сливаются с ними полностью).

Приведем пример. Когда в 1938 г. Мери Дуглас поступала в Оксфорд, «ей было предложено проинтерпретировать притчу о “прядильщиках и ткачах” Бальфура, где “прядильщики” — собиратели информации — выступали скромными тружениками, делающими полезную работу в поле (намек на британскую эмпирическую антропологию), а “ткачи” — те, кто из пряжи делает ткань теории — были представлены надменными и амбициозными (вроде германских этнологов). Правильный ответ на последовавший вопрос: кем ты хочешь стать — “прядильщиком” или “ткачом” — конечно же, подразумевал первое. Мери Дуглас дала тогда “неверный” ответ» [Баньковская 2007: 118].

Граница теоретического и прикладного в этом нарративе задается как граница национальных традиций — британский эмпиризм vs континентальное теоретизирование. Для нормального британского антрополога того времени интерес к теории выглядит не по-английски (чем отчасти объясняется позднее открытие работ Дуглас академическим сообществом).

Другое основание интересующего нас различия — границы дисциплинарные. Избыточная теоретичность отождествляется этнографами с пагубным стремлением социологии наспех собрать самую общую теорию всего на основе нескольких непроверенных фактов. Напротив, ползучий эмпиризм и отказ от фундаментальной теоретической работы социологи недвусмысленно отождествляют с этнографией. Такая междисциплинарная рознь служит основанием любопытных экспансий, в результате которых то этнография низводится до уровня одного из методов прикладной социологии, то социология вдруг оказывается избыточным теоретическим наростом на теле этнографических исследований.

Эту логику *социального конструирования различий* между прикладным и теоретическим знанием можно легко продолжить, вспомнив как, например, политически ангажированные прикладные исследования противопоставляют себя высокой теории, заключенной в башне из слоновой кости и гордящейся своей аполитичностью (различение «прикладное / теоретическое» с опорой на политические демаркации). Удивительным образом в истории наших дисциплин чисто методологическая, казалось бы, граница прикладного и теоретического то и дело связывалась с границами стран, дисциплин, политических сил и социальных институтов. Проецируя эту логику на интеллектуальный ландшафт современной России, мы должны были бы

сказать, что граница теории и практики проходит где-то в районе Бологого. И хотя мало кто сегодня открыто согласится с подобным сведением чисто научного различия к социальным различиям, мы регулярно сталкиваемся с его побочными эффектами. Например:

- когда аспиранту-этнографу с выраженными теоретическими амбициями предлагают «уйти в социологию и защищаться там»;
- когда британский преподаватель социальной теории теряет позицию в немецком университете из-за «недостаточного философского образования»;
- когда московский журнал отклоняет статью питерского социолога из-за «отсутствия глубокой теоретической проработки проблемы» и, наоборот, слишком московский текст отвергается петербургским сообществом «из-за недостаточного эмпирического обоснования сделанных выводов».

Логика социального конструирования различий предлагает нам беспроигрышный вариант ответа на поставленные выше вопросы: при помощи нехитрого набора территориальных, дисциплинарных, политических оппозиций («Москва / Питер», «социология / этнография», «правые / левые») в каждый конкретный момент конструируется нечто именуемое «теорией» и противопоставляется «практике».

Тот способ анализа, в котором демаркация «теоретического / прикладного» понимается как социально сконструированное различие, ущербен, но действен. Ущербен, потому что, будучи примененным к научному знанию, он легко сводит когнитивные отличия (обусловленные самим характером знания) к внешним социальным дистинкциям. Это излюбленный ход современной социологии науки, которая отождествляет «знание» и «общество»<sup>1</sup>. Действенность такой логики объясняется простотой предлагаемых ею операционализаций. При желании можно определить социологию (ограничимся пока только ею) как сообщество социологов, задав границы и параметры описания, собрать массив социологических единиц, маркировав каждого как «теоретика», «прикладника», «скорее теоретика» или «скорее прикладника». Здесь социолог социологии выходит на оперативный простор: можно посчитать плотность связей между теоретиками и прикладниками, доказать, что теоретики ссылаются только на теоретиков, а прикладники — на прикладников, выявить их отношение друг к другу, составив перечень взаимных обид и т.п. Можно изучить пограничные

<sup>1</sup> См., напр.: [Куш 2002].

случаи: например, что общего у всех институтов, руководители которых являются единственными легитимными теоретиками в своей организации (имеющими «моральное право» на теоретические высказывания), а остальные сотрудники — выраженными прикладниками. Наконец, хит сезона — стратификация прикладников и теоретиков, демонстрация того, что принадлежность к одному из двух лагерей определяет карьерные шансы, вероятность приращения символического капитала и статус в сообществе. Благодаря социологии науки мы больше не знаем, где точно проходят границы между прикладным и теоретическим *знанием*, зато мы знаем, что между *сообществами* прикладников и теоретиков границы есть — это границы кафедр, университетов, конференций, ассоциаций, институтов и журналов.

Нетрудно заметить, что если в притче о прядильщиках и ткачах предполагается как минимум функциональная взаимозависимость прикладников и теоретиков (при всей сложности их отношений друг с другом кто-то все же должен делать ткань, причем ее невозможно сделать из себя самой), то для социолога социологии это допущение уже не является необходимым. Добавим к этому тот факт, что теоретики — в отличие от ткачей — с легкостью ткут ткань теории из нее самой. (Эту самореферентность теоретической работы хорошо описал Альфред Шюц.) Равно как и для прикладников теория не является чем-то практически значимым. Полгода назад на одном из семинаров факультета социологии ГУ ВШЭ руководитель прикладной кафедры искренне призналась, что при подготовке «конкретных социологических исследований» социологическую теорию ей с успехом заменяют Google и Wikipedia.

Социология социологии, предлагающая мыслить науку как социальный институт, а различия в ней (например, интересующую нас демаркацию прикладного и теоретического) как различия социально сконструированные, на каком-то этапе приводит к любопытному парадоксу. Открывая путь *прикладным* исследованиям науки (вроде того, что мы описали выше), она дает асимметричное описание разграничения теории и практики. Это демаркация «прикладного» и «теоретического» с позиций прикладного. Различения, в которых наблюдатель-демаркатор (т.е. собственно тот, кто проводит границу) обеими ногами стоит на одной из различаемых сторон, всегда асимметричны. Границы резерваций, очерченные индейцами «изнутри», и границы резерваций, огороженные властями «извне», — это разные по своему смыслу границы.

Основное свойство асимметричных различений состоит в том, что вторая сторона находится в положении определяемого, но



не определяющего. Известное теннисовское различие «Общины» и «Общества» асимметрично именно потому, что его дают из «Общества» и на языке «Общества». Собственно, поэтому «Община» в нем определяется, по сути, от противного (хотя и желаемого). Пример другого асимметричного различия — мир повседневности и мир науки. Граница между ними видится по-разному со стороны науки и со стороны повседневности (точнее, со стороны повседневности ее не видно совсем, потому что операция проведения границ и возведения их к противоположностям — это прерогатива научного разума).

Таким образом, тот способ мысли, который предлагает нам социология науки, требует прикладного определения теории. И его не нужно долго искать: достаточно определить теорию как «производимые в сообществе теоретиков тексты», «жанр статей, публикуемых в журнале X и Y», «фрагменты учебников, по которым учат студентов на кафедре Z», «все, что ассоциировано с именами классиков» etc., etc.

Возможна ли обратная асимметрия? Разграничение «теоретического» и «прикладного» со стороны теоретического и определение прикладных исследований «от теории»? Вполне. Эта операция теоретического определения роли и места прикладных исследований является элементом обязательной программы для всех теоретиков, занимающихся обоснованием социологического знания *per se*. Каждый из них (начиная с классиков) отталкивается от утверждений об эмпирическом характере социологии как «науки о действительности», после чего предлагает длинный перечень ограничений, призванных поставить на место и призвать к ответу конкретные социологические исследования. (Дальше других пошел в этом направлении Питер Уинч в своей работе «Идея социальной науки и ее отношение к философии»; не случайно книга, выпущенная спустя полстолетия его последователями, называется «Нет такой вещи как социальные науки» [Hutchinson, Read, Sharrock 2008]).

Дабы не занимать позицию свободно парящего наблюдателя, я сразу же оговорюсь, что принадлежу к лагерю теоретиков и различие «теоретического / прикладного» меня занимает исключительно как различие теоретическое (как будто это не было ясно из предыдущего изложения). Я не верю в самостоятельную ценность прикладных исследований для науки (что не отрицает их ценности для народного хозяйства, государственного управления и повседневной жизни). Я также сомневаюсь в существовании «эмпирического материала» или «установленных фактов» как чего-то существующего вне теоретических допущений исследователя (сделанных имплицитно или эксплицитно). Обязательная к заполнению графа («прак-

тическая значимость исследования») не воспринимается иначе как повод для стёба. На мой взгляд, лучше всего относительную ценность теоретического и прикладного знания выразил Ирвинг Гофман, который в своем президентском послании к ASA так прокомментировал успехи американской социологии: «В действительности, нам следовало бы радоваться возможности обменять то, что мы успели произвести до сих пор, на несколько по-настоящему хороших понятийных разграничений и холодное пиво» [Гофман 2002: 104].

Эту «пятиминутку самообъективации» (выбивающуюся из основного текста и по жанровым, и по содержательным характеристикам) я предпринял не только из-за предложения инициаторов дискуссии внятно обозначить свою позицию в споре прикладников и теоретиков, но еще и потому, что в настоящий момент не существует позиции, которая позволила бы провести разграничение «теоретического» и «прикладного» как разграничение *симметричное*, т.е. без заведомо ангажированной позиции теоретика или прикладника. Определением практики и теории занимаются либо практики, либо теоретики. Нет инстанции и языка описания, который позволил бы различить два этих когнитивных региона, не прибегая к логике одного из них. Те, кто говорят, что они «и теоретики, и прикладники», в каждый конкретный момент времени являются либо прикладниками, либо теоретиками. Те же, кто отсылает к некоторой абстрактной методологии социальных наук как некоторой «третьей силе», способной сначала внятно разграничить теорию и практику, а затем выстроить мост между ними, просто не замечают глубокого раскола внутри самой методологии, разорванной надвое эпистемологией и методикой<sup>1</sup>.

Апелляция к методологии как альтернативе сугубо «практической» или сугубо «теоретической» логики демаркации воспроизводит мораль старого анекдота о школьном автобусе в ЮАР. Водитель, заявивший, что апартеиду необходимо положить конец и прекратить отделять черных от белых, предложил родителям выкрасить детей в зеленый цвет. После чего рассадил

<sup>1</sup> Кажется, мало что изменилось со времен Талкота Парсонса («О теории и метатеории»): «Обдумывая, как ответить на приглашение профессора Тернера принять участие в данном коллективном труде, я счел целесообразным попытаться в общей форме высказаться относительно известной истины о том, что для соответствия требованиям науки теория должна быть не только достаточно согласована с эмпирическими фактами, но и иметь достаточное обоснование в том, что чаще всего мы называем философской позицией. В этой связи уже не раз отмечалось, что в американском обществоведении слово “методология” в основном относится к исследовательской технике, тогда как в немецком употреблении оно отсылает скорее, к философии науки, т.е. к обоснованию ее общих систем координат и концептуальных схем». Нетрудно заметить, что и здесь граница «более теоретической методологии / менее теоретической методологии» совпала с границами национальных традиций.

светло-зеленых на передние сиденья, а темно-зеленых — на задние.

Итак, зафиксируем две проблемы, связанные с различием «прикладное / теоретическое».

1. Это различие неизбежно проводится как *асимметричное* (сделанное с одной из сторон различия и наделяющее одну из сторон априорной значимостью).
2. Это различие определяется как *социально сконструированное*, выражающее интересы, диспозиции и установки сообщества самих прикладников и теоретиков.

Было бы неверно связывать тезис о социальной сконструированности различий между теорией и практикой исключительно с «практическим» определением интересующей нас границы. Теоретики, разводящие теорию и практику, регулярно определяют ее как чистый и незамутненный социальный конструкт. Видимо, тезис об асимметрии и тезис о социальной сконструированности не стоит рассматривать как однозначно взаимосвязанные.

Тем не менее эта связь есть. *То обстоятельство, что внутри научного мира отсутствует позиция, позволяющая разграничить теорию и прикладные исследования симметричным образом (не становясь ни на одну из сторон различия и не наделяя ни одну из них приоритетом), т.е., по сути, метапозиция демаркации, является прочным основанием редукции этой границы к границам социальным — границам стран, традиций, институтов, дисциплин и политических партий.* До тех пор пока подобная позиция отсутствует, граница между «теорией» и «практикой» будет рассматриваться как прямая производная от социальных, а не содержательных различий.

### Библиография

- Баньковская С.П. Мери Дуглас. In Мемориам // Социологическое обозрение. 2007. Т. 6. № 3.
- Гофман И. Порядок взаимодействия // Теоретическая социология: Антология. М., 2002.
- Куш М. Социология философского знания: конкретное исследование и защита // Логос. 2002. № 5–6 (35).
- Hutchinson P., Read R., Sharrock W. There is No Such Thing as Social Science. L.: Ashgate Publishing Limited, 2008.

**БОРИС ВИНЕР****Проблемы конкурсного финансирования исследовательских проектов в институтах РАН**

Обсуждая тематику получения грантов, чаще всего имеют в виду получение поддержки от грантообразующих фондов, которые созданы специально для поддержки научных проектов; причем ведомственная принадлежность участников проектов не является главным критерием оценки поданной на конкурс заявки. Наиболее известными из подобных российских фондов являются РФФИ и РГНФ. В меньшей степени обсуждаются внутриведомственные конкурсы научных проектов, например имеющие место в системе Министерства образования и науки и Российской академии наук. Такие конкурсы во многом похожи на процедуры получения грантов, но вместе с тем заметно отличаются от них.

В данном тексте я хотел бы обратить внимание на некоторые сюжеты, связанные с конкурсным финансированием проектов в Социологическом институте (СИ) РАН, где я работаю. Предполагаю, что то, что происходит в СИ РАН, не является каким-то уникальным случаем в академии.

***Сюжет первый: навязывание тематики проектов сверху***

Деятельность РАН в основном финансируется из бюджета Российской Федерации, причем львиная доля бюджетных денег, выделяемых академии, предназначена на обеспечение Программы фундаментальных научных исследований, которая охватывает целый ряд направлений исследований. Приложение 1 к Распоряжению Президиума РАН от 22 января 2007 г. № 10103-30 «Об утверждении Основных направлений фундаментальных исследований Программы фундаментальных научных исследований

Российской академии наук на период 2007–2011 годы» перечисляет эти направления<sup>1</sup>. Приложение подписано начальником НОУ РАН д.э.н. В.В. Ивановым.

Как именно принималось решение о составлении этого документа, мне неизвестно. В «Плане работы по подготовке проекта Программы фундаментальных научных исследований Российской академии наук на период 2007–2011 годы» (Приложение 2 к Распоряжению Президиума РАН № 10103-30) среди подразделений РАН, участвующих в подготовке Программы фундаментальных научных исследований, называются НОУ РАН, отделения РАН и др.

Формально руководство РАН не исключает корректировки перечня направлений. В пункте 2.2 «Основных принципов организации и деятельности института Российской академии наук» (Приложение к Постановлению Президиума РАН от 20.05.2008 № 373)<sup>2</sup> сказано, что «институт: формулирует основные направления исследований, принимает и реализует планы научно-исследовательских работ и другие планы. Основные направления исследований и планы научно-исследовательских работ института согласовываются с Бюро отделения (президиумом регионального отделения) РАН, Президиумом РАН, а для институтов, объединяемых региональным научным центром РАН, также с президиумом регионального научного центра РАН, и утверждаются в установленном порядке». Пункт 3.6 отмечает, что научное подразделение института «участвует в формировании планов научных исследований в соответствии с основными направлениями деятельности института», а пункт 3.7 среди прав научного работника института называет права «предлагать инициативные НИР» и «участвовать в конкурсах на получение целевого финансирования НИР». Однако я не уверен, что возможна ситуация, когда по просьбе одного научного работника или небольшого подразделения института, возглавляемого не самым известным руководством РАН ученым, администрация института будет добиваться изменения формулировки направления в перечне или включения туда дополнительного направления. Кроме того, даже если администрация института будет настаивать на внесении в перечень изменений, нет никаких гарантий, что изменения будут внесены, поскольку, по отзывам тех, кто имел дело с академической бюрократией, все процедуры согласований в РАН довольно сложны и занимают много времени.

<sup>1</sup> <<http://onti.tpu.ru/RosstRAN.html>>. Обращение к ресурсу 9.08.10.

<sup>2</sup> <<http://www.ras.ru/presidium/documents/directions.aspx?ID=655ad7a9-9e4b-45d9-96b6-6f99fb1c087f>>. Обращение к ресурсу 9.08.2010.

Отсутствие реальной процедуры согласования интересов институтов, научных подразделений и научных работников с руководством РАН может выразиться в том, что, с одной стороны, в перечень могут попасть малоперспективные проблемы, а с другой стороны, окажутся не охваченными очень важные области исследований. Например, в СИ РАН существует сектор социологии здоровья, возглавляемый Н.Л. Русиновой, которая самостоятельно и в соавторстве опубликовала несколько десятков статей в рецензируемых социологических журналах, в том числе американских. Согласно сайту секции медицинской социологии АСА, эта секция является одной из самых больших в ассоциации<sup>1</sup>. Справочник АСА о социологических департаментах постбакалаврского уровня [American Sociological Association 2010: 403–412] содержит сведения о том, что в США программы по Medical Sociology имеются в 69 университетах. Из 67 социологических программ в американских университетах медицинскую социологию обгоняют лишь Sex and Gender (91 университет), Racial and Ethnic Relations (75 университетов), Criminology / Delinquency (75 университетов)<sup>2</sup> и Quantitative Methodology (71 университет).

Но следует учитывать, что к Medical Sociology также очень близки программы Aging / Social Gerontology (36 университетов), Alcohol and Drugs (4 университета) и Mental Health (13 университетов). Три последние программы вместе с собственно Medical Sociology могут быть обозначены как Sociology of Health and Illness. Роль социологических исследований в этой области будет возрастать в силу роста продолжительности жизни, необходимости продления периода трудовой активности населения, появления новых возможностей для реабилитации после тяжелых болезней, а также вовлечения в трудовую деятельность людей с ограниченными возможностями.

Однако в направлениях исследований РАН сюжеты, связанные с социологией здоровья, никак не обозначены. Причина данной ситуации проста: эксперты, составлявшие список направлений, оказались некомпетентными в области социологии, хотя, возможно, они вполне квалифицированы в тех научных вопросах, которыми занимаются непосредственно. Замена экспертов не является гарантией того, что подобные ошибки впредь допускаться не будут. Единственный выход из подобной ситуации — прекратить формирование списка приоритетных направлений в социальных науках сверху директивным путем.

<sup>1</sup> <<http://dept.kent.edu/sociology/asamedsoc/>>. Обращение к ресурсу 3.08.2010.

<sup>2</sup> К этой программе близка программа Law and Society (23 университета).

Что касается финансирования сектора социологии здоровья в СИ РАН, завсектором и администрация института нашли, по-моему, весьма спорную формулировку для того, чтобы тематика работы сектора соответствовала направлениям, перечисленным в Приложении 1, а Бюро Отделения общественных наук РАН закрыло на это глаза, утвердив в январе 2008 г. предложенный институтом перечень направлений научной деятельности<sup>1</sup>.

Кто-то может решить, что в случае с невключением в Приложение 1 проблематики социальных аспектов здоровья человека произошел какой-то случайный сбой. Но в перечне направлений фундаментальных исследований РАН упущены также, например, науковедение и социология науки и знания. В Приложении 1 мне удалось обнаружить лишь направления «8.6. Методологические проблемы экономической теории и становления “Экономики знаний”» для общественных наук и «9.2. Сохранение и изучение культурного, археологического и научного наследия...» для историко-филологических наук (курсив мой. — Б.В.). Не сомневаюсь, что в документе пропущены еще многие важные темы научной деятельности.

Еще одной проблемой, связанной с Приложением 1, является то, что в формулировках направлений можно обнаружить предпочтение, отдаваемое разработчиками этого документа одним теоретическим ориентациям в ущерб другим. Например, утверждено направление «8.1. Цивилизационные перемены в современной России: духовные процессы, ценности и идеалы». Непонятно, почему из макрообъяснительных моделей исторического процесса в перечень направлений попал только цивилизационный подход, но проигнорированы формационный и модернизационный подходы.

***Сюжет второй: расхождение между структурой финансирования исследовательской деятельности и формальной структурой научных подразделений внутри институтов***

Согласно «Основным принципам организации и деятельности института Российской академии наук» научные работники институтов РАН осуществляют свою деятельность, входя в состав научных подразделений институтов. Традиционно такие под-

<sup>1</sup> В перечне направлений научной деятельности СИ РАН тематика социологии здоровья получила название «Социальные факторы неравенств в здоровье и социальной поддержке». Самыми близкими к этой тематике в Приложении 1 являются направления «8.3. Трансформация социальной структуры российского общества» и «8.9. Проблемы и механизмы обеспечения экономической, социальной и экологической безопасности».



разделения называются отделами, секторами и лабораториями. В то же время финансирование деятельности научных работников осуществляется посредством их включения в тот или иной проект, утвержденный Ученым советом института. Сотрудник может фактически работать по проекту, который не имеет никакого отношения к тому подразделению, в котором этот сотрудник формально числится. В СИ РАН в таком положении по разным причинам оказались несколько человек, в том числе и автор настоящего текста. Более того, могут существовать целые подразделения, названия которых не совпадают с тематикой их текущих проектов. Так, в СИ РАН существует сектор истории российской социологии, сотрудники которого в 2009–2011 гг. работают по утвержденному проекту «Цивилизационная динамика российского общества: историко-социологическое исследование». Любому человеку, мало-мальски знакомому с внутренним членением социологии как научной дисциплины, понятно, что в данном названии термин «историко-социологическое» не имеет никакого отношения к такой области, как история социологии. Зато проект безошибочно можно отнести к исторической социологии. В таком случае не ясно, зачем сохранять за сектором старое название, не отражающее действительную направленность исследований?

Если обратиться к опыту американских коллег, то мы обнаружим, что американские социологические департаменты, как правило, не имеют четкого деления на подразделения. Научную работу преподаватели там осуществляют либо самостоятельно при помощи нескольких студентов магистерского или аспирантского уровня, занимающих оплачиваемую позицию research assistant, либо в составе групп из двух-трех преподавателей, опять-таки усиленных квалифицированными graduate students. Важно заметить, что такая группа не обязательно состоит из преподавателей и их помощников, работающих в одном университете. При современных средствах коммуникации члены исследовательской группы могут работать даже на разных побережьях Соединенных Штатов или в разных странах. Чаще всего университетские источники финансирования научных проектов дополняются исследовательскими и иными грантами, предоставляемыми специальными грантообразующими организациями.

Напрашивается вывод о том, что в современных российских условиях организация сотрудников в жесткие подразделения изжила себя. Проектная организация труда является более рациональной. Вместе с тем на время финансирования проекта сотрудники, включенные в него, могут называть себя сектором, отделом и т.п.



*Сюжет третий: принуждение к укрупнению проектов*

Пункт 1.2 «Положения о государственной регистрации и учете открытых научно-исследовательских и опытно конструкторских работ», утвержденного Приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации от 17 ноября 1997 г. № 25<sup>1</sup>, предусматривает для всех ведущих открытые НИОКР российских организаций «независимо от их организационно-правовых форм» обязательную государственную регистрацию во ВНИЦ. Цель подобной регистрации, согласно пункту 1.1 этого же документа, — формирование «национального библиотечно-информационного фонда Российской Федерации, выпуска информационных изданий о нем, обеспечения его сохранности и использования».

В 2003 г. ВНИЦ ввел плату в 960 руб. за государственную регистрацию одной НИОКР<sup>2</sup>. Поскольку научные институты выполняют одновременно несколько проектов, их администрации заинтересованы в том, чтобы ограничить их число с целью экономии средств<sup>3</sup>. Этого можно достигнуть, например, путем объединения нескольких мелких проектов в более крупный.

Однако дело не исчерпывается финансовыми соображениями администрации института. У меня сложилось впечатление, что руководство РАН тоже почему-то предпочитает иметь дело с крупными проектами. В апреле 2009 г. проводилась комплексная проверка СИ РАН комиссией, сформированной Президиумом РАН. Процедура проверки завершилась встречей членов комиссии с коллективом института. В ходе своего выступления член комиссии, ученый секретарь Института проблем региональной экономики РАН Е.Б. Костяновская сказала, что социологи должны работать в крупных проектах, объединяющих большие группы работников. Судя по тому, что никто из членов комиссии ей не возразил, такой же была и их позиция.

Вполне возможно, что в естественных науках наилучшие результаты дают именно крупномасштабные проекты. Однако я не уверен, что российские обществоведческие проекты, включающие множество исследователей, работающих над

<sup>1</sup> <[http://www.vntic.org.ru/rus/inf\\_products/registr/pol1.php](http://www.vntic.org.ru/rus/inf_products/registr/pol1.php)>. Обращение к ресурсу 9.08.10.

<sup>2</sup> Руководителям организаций, занимающихся НИОКР, поступило информационное письмо о введении платы за регистрацию, подписанное директором ВНИЦ П.А. Бондаревым 11.11.2003 г. № 39-10/481.

<sup>3</sup> В 2003 г. плата в ВНИЦ за регистрацию диссертации составляла 330 руб. (см. письмо директора ВНИЦ А. Бондарева руководителям диссертационных советов № 39-8/515 от 22.04. 2004 г.). А в настоящее время плата за регистрацию диссертации составляет от 1200 до 1800 руб. <[http://www.vntic.org.ru/vntic/instr\\_diss.php#price](http://www.vntic.org.ru/vntic/instr_diss.php#price)> (Обращение к ресурсу 9.08.10). К сожалению, я не обнаружил на сайте ВНИЦ цену регистрации НИОКР. Вероятно, как и цена за регистрацию диссертации, она также выросла в несколько раз.

одной темой, сопоставимы по своим результатам с американскими проектами, над которыми работают один-два профессора с несколькими аспирантами<sup>1</sup>. Думаю, что наиболее эффективным научным проектом в истории общественных наук стал проект, в котором было всего два главных исполнителя. Фамилия одного из них была Маркс, а второго Энгельс. Вряд ли бы этот проект выиграл, если на помощь Марксу и Энгельсу прислали Бакунина, Лассалья, Бланки, Прудона. Точно так же не было бы ничего, кроме вреда, от объединения в одном проекте усилий Дюркгейма и Вебера.

Разумеется, я далек от того, чтобы приравнивать российских социологов к классикам социальных наук, но знакомство с социологическими публикациями показывает, что у любого более или менее самостоятельного исследователя обнаруживается уникальное сочетание теоретических и методических предпочтений и ориентаций на ту или иную отечественную и зарубежную научную традицию. К тому же социология как учебная дисциплина в СССР была окончательно институционализирована лишь в 1989 г. Поэтому социологам, получившим высшее образование в предыдущие годы, зачастую достаточно сложно понять друг друга из-за того, что их профессиональная социализация проходила в очень разных дисциплинах.

Приход людей с разными взглядами на одну научную дисциплину или даже на одну научную проблему в общий проект приводит к непродуктивным конфликтам, в которых силы участников проекта растрачиваются попусту. Но даже если представить себе, что участники проекта психологически идеально подходят друг к другу, все равно написание общей заявки на зонтичный проект, служащий лишь прикрытием для фактически самостоятельной деятельности, отнимает от реальной работы достаточно много времени.

#### ***Сюжет четвертый: расплывчатость критериев отбора лучших проектов***

Если предполагаемое администрацией института число проектов, подлежащих регистрации, меньше числа предлагаемых сотрудниками института заявок на финансовую поддержку проекта, возникает необходимость оценки качества заявок. Конкурсная процедура внутри института принципиально отличается от конкурсов в грантообразующих организациях: 1) в институте невозможно сохранить конфиденциальность авторов заявок; 2) между авторами заявок и теми, кто их оцени-

---

<sup>1</sup> Изучение этого вопроса вполне могло бы стать самостоятельным научным проектом.

вают, могут существовать отношения, имеющие устойчивую эмоциональную окраску, что не может не влиять на процедуру отбора; 3) внутри института постоянно возникают коалиции, направленные на поддержку «союзников» и понижение статусных позиций «противников».

Поскольку критерии оценки заявок не оговорены в документах, поступающих из вышестоящих инстанций, институтам приходится вырабатывать такие критерии самостоятельно. Насколько успешно они с этим справляются, оценить, по-видимому, невозможно. Однако даже намного менее значимая для сотрудников процедура начисления ежегодных надбавок вызывает постоянные нарекания и конфликты.

Разумеется, процедура оценки заявок должна быть прозрачной и понятной всем. Сомневаюсь, что она является таковой во всех научных учреждениях РАН. К такому заключению меня приводят несколько конфликтов в СИ РАН по поводу утверждения проектов на 2009–2011 гг. и знакомство с критериями оценки заявок на гранты, которые можно обнаружить в Интернете<sup>1</sup>. Вероятно, для конкурса заявок в институтах было бы полезным составлять два рейтинга:

- рейтинг успешности выполнения проектов за предыдущий период;
- рейтинг качества заявок на предстоящий период работы.

***Сюжет пятый: невозможность свободного набора исполнителей для выполнения проекта в институтах РАН***

Представим себе, что в СИ РАН работают некто Петров и Сидоров. Петров — руководитель подразделения. Сидоров — просто старший научный сотрудник, не имеющий подчиненных. Наступило время подачи заявок по бюджетному финансированию проектов на очередной трехлетний срок. Петров и Сидоров пишут заявки на проекты, в каждом из которых, как ожидается, будут работать по несколько человек. Проект Сидорова явно лучше. Это признают и администрация института, и возможные внешние эксперты, и Ученый совет СИ РАН. Какой проект будет утвержден Ученым советом СИ РАН после комплиментов в адрес Сидорова?

Скорее всего, вы угадали правильно. Утвержден будет проект Петрова. Несмотря на то что проект Сидорова лучше, кроме

<sup>1</sup> Достаточно сравнить представленные на сайте РФНФ критерии оценки заявок на основной конкурс <[http://www.rfh.ru/index.php?option=com\\_content&task=view&id=423&Itemid=190](http://www.rfh.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=423&Itemid=190)> (обращение к ресурсу 3.08.2010) с критериями оценок, скажем, Council of Grant Officers of City University of New York <[http://cogo\\_grnt\\_wrtng\\_wrkshp\\_guide.pdf](http://cogo_grnt_wrtng_wrkshp_guide.pdf)> (обращение к ресурсу 3.08.2010), для того чтобы понять, что оценки российских экспертов не могут не быть крайне субъективными.

самого Сидорова в нем некому работать. Набрать сотрудников вне СИ РАН Сидоров не может: в институте отсутствуют свободные ставки. Сотрудники, работающие в проекте Петрова, вовсе не рвутся к Сидорову. За время работы с Петровым они накопили определенный интеллектуальный и социальный капитал. Начинать все сначала в новом проекте не в их интересах.

Если бы не руководящие проектами сотрудники набирались в СИ РАН на трехлетний срок для работы по конкретному проекту, все было бы просто: контракт окончен — переходи либо в другой проект внутри, либо в другое учреждение. Однако наша система найма сотрудников способствует тому, чтобы победителями выходили те, кто не обязательно заинтересован в продвижении новой тематики.

В заключение еще раз перечислю предложения, которые могут улучшить условия определения исследовательских проектов, заслуживающих бюджетного финансирования, в институтах РАН:

- доверить выбор приоритетности направлений (хотя бы в социальных и гуманитарных науках) самим институтам;
- ликвидировать формальную структуру подразделений в институтах, сохранив финансирование по утвержденным исследовательским проектам;
- прекратить практику укрупнения проектов и решить вопрос о том, чтобы фактически были разрешены индивидуальные проекты;
- добиться внедрения понятных и прозрачных критериев оценки исследовательских проектов в каждом институте;
- начать обсуждение вопроса о том, каким образом можно набирать персонал в перспективные проекты и что делать с сотрудниками завершенных, которым не продлили финансирование.

#### Список сокращений

АСА — Американская социологическая ассоциация

ВНТИЦ — Всероссийский научно-технический информационный центр

НИР — Научно-исследовательские работы

НОУ РАН — Научно-организационное управление РАН

РАН — Российская академия наук

РГНФ — Российский гуманитарный научный фонд

РФФИ — Российский фонд фундаментальных исследований

СИ РАН — Социологический институт РАН

НИОКР — Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

### Библиография

American Sociological Association. 2010 Guide to Graduate Departments of Sociology. Washington, DC: American Sociological Association, 2010.

## ВЛАДИМИР ГЕЛЬМАН

### Политическая наука: теоретическая и / или прикладная?

В начале 2000-х гг., разговорившись в вагоне поезда с соседом по купе, я имел неосторожность сообщить ему, что преподаю политологию. Сосед, переменившись в лице, начал возмущенно тыкать в меня пальцем: «А-а, вы учите грязным избирательным технологиям!» Признаться, мне стоило некоторого труда убедить своего оппонента в том, что я занимаюсь совершенно иным, а «грязные избирательные технологии» имеют к политической науке примерно такое же отношение, как деятельность диджея — к музыковедению.

Этот эпизод довольно ярко иллюстрирует восприятие соотношения между политической наукой как академической дисциплиной и ее практическими приложениями на уровне российской политики. Конечно, можно сделать поправку на тот контекст, в котором сегодня функционирует российская политическая наука, — незрелость и отсталость дисциплины в целом на фоне усугубления авторитарных тенденций в политике нашей страны [Гельман 2008]. В подобных условиях трудно ожидать от отечественной «прикладной политологии» иного магистрального пути развития, нежели информационное прикрытие спецопераций правящих групп либо организация лоббирования частных интересов в коридорах

**Владимир Яковлевич Гельман**  
Европейский университет  
в Санкт-Петербурге  
gelman@eu.spb.ru

власти. Но, на мой взгляд, проблема лежит гораздо глубже, и она связана не только с текущей политической, да и с академической конъюнктурой в нашей стране.

Граница между теоретической и прикладной наукой, по крайней мере в случае политологии, довольно условна. Здесь многое зависит от того, к кому обращается обществовед: идет ли речь о текстах, адресованных научному сообществу, или их аудиторией выступают лица, принимающие решения, или даже общество в целом. Если научное сообщество обладает относительной автономией (включающей независимость от политической конъюнктуры распределения внутри него различных ресурсов и достаточный объем самих ресурсов), то у исследователя возникает больше стимулов к тому, чтобы оставаться в академических рамках. Если же успех ученого в науке определяется по преимуществу его / ее близостью к власти предрешающим, частотой появления в СМИ и тому подобными достижениями, его / ее шансы на то, чтобы впасть в публицистику и / или написание записок «по начальству», обычно возрастают.

Очевидно, что российский случай тяготеет ко второму пути, и ситуация в обозримом будущем вряд ли изменится. По крайней мере, маловероятно, что политическая наука, не обладающая ни сильными академическими традициями, ни профессиональным авторитетом, ни автономными источниками своего финансирования и развития, сможет (да и захочет) дистанцироваться от «прикладных» тенденций. Но российский случай отнюдь не является исключительным. Во многих странах, переживающих процессы комплексной экономической и политической трансформации, как у граждан, так и у самих ученых порой возникают ожидания того, что наиболее эффективно решать проблемы общества могут именно те специалисты, которые их успешно изучают. И тогда ученые — в том числе политологи — на время оказываются ключевыми фигурами политики. Но и оценивать их в этих (редких) случаях следует уже не как представителей соответствующих научных дисциплин, покинувших академический мир (возможно, на время), а именно как политиков. Беда в том, что обществоведы обычно не добиваются успехов на поприще политики: успешные исключения (подобные бывшему президенту Бразилии Фернандо Энрике Кардозу) лишь подтверждают правило.

В самом деле, в политической науке, возможно, острее, чем в ряде иных дисциплин социальных наук, стоит дилемма противостояния собственных научных убеждений и стремления к их применению на практике. В социальных науках (в том числе в политической науке) существует проблема ценностной

нейтральности исследований, не имеющая на практике удовлетворительного решения. К тому же необходимо сделать поправку на активистскую позицию ряда ученых, их стремление реализовать на практике собственные научные выводы. Да, у любого политолога есть собственные представления и об оптимальных формах политического устройства, и о том, насколько далеко отстоит от них политическая реальность. Более того, даже научное сообщество не всегда в состоянии выступать арбитром по этим вопросам, консенсус здесь носит слишком ограниченный характер. Скажем, хотя немногие политологи сегодня открыто выступают против демократии как таковой, но политологические дискуссии о предпочтительных механизмах функционирования демократических институтов, кажется, будут вечны. Должна ли демократия обеспечивать прежде всего эффективность управления либо она призвана служить представительству различных групп общества? Должны ли права и свободы граждан ограничиваться лишь сферой политики или их следует распространить на экономику и социальную сферу? На эти (и многие другие) вопросы у политологов нет однозначно «правильных» ответов, и поэтому политолог, решающий прикладные задачи, зачастую сталкивается с тем, что независимо от своих желаний фактически пытается заниматься политикой, оставаясь в науке.

Однако между политической наукой и политикой как таковой — дистанция огромного размера. В странах Запада политическая наука влияет на политику обычно не напрямую, а через посредников: ими выступают аналитики, консультанты, эксперты. В отличие от академических исследователей, как правило, работающих в университетах и научных центрах, они сосредоточены в think-tanks, политических партиях, на государственной службе (хотя в сегодняшней России одни и те же люди зачастую совмещают обе эти роли, думаю, их разделение — вопрос времени). Если для первых аудиторией их трудов выступает научное сообщество, то для вторых гораздо важнее востребованность их идей лицами, принимающими решения. Успешно совмещать даже эти близкие роли удастся немногим. Тем более наивно полагать, что один и тот же человек может совмещать занятия политической наукой и политикой: слишком различаются здесь цели и средства.

Обществоведы знают об этом ограничении еще со времен Макса Вебера, опыт которого также может служить живой иллюстрацией этой дилеммы. Будучи сторонником сильного харизматического лидерства, с одной стороны, и жестким критиком немецкого парламентаризма, с другой, Вебер в ходе выработки Веймарской конституции Германии в 1919 г. настоял на внесе-

нии в ее текст нормы, позволявшей президенту распускать парламент, самостоятельно формировать правительство и править посредством указов (отметим, что ровно такие же положения содержит и нынешняя российская конституция). В 1933 г. использование именно данной нормы конституции позволило нацистам на законных основаниях прийти к власти. Рекомендации Вебера как прикладного политолога в плане институционального строительства оказались глубоко порочными, что не умаляет его выдающихся заслуг как политолога-теоретика. Между тем в ряде стран вполне успешные политические институты были созданы вовсе не политологами («теоретиками» и / или «прикладниками»), а действующими политиками, многие из которых не имели никакого политологического образования.

Мне самому все-таки ближе занятия наукой ради интереса к науке, хотя многие коллеги и у нас в стране, и за рубежом приложили и прилагают немало усилий для критики пресловутой «башни из слоновой кости». Но я не стремлюсь применять свои выводы в политической практике ни в качестве дающего советы эксперта или аналитика, ни тем более в качестве политика. Это не значит, что я не заинтересован в таком применении — скорее, наоборот. Но каждый специалист должен заниматься своим делом: диагностика социальных и политических болезней — это одно занятие, а их лечение — совершенно другое.

И дело здесь не только в моих научных убеждениях, но и в собственном жизненном опыте. В 1990-е гг. я довольно активно участвовал в политической и общественной жизни, даже был экспертом думской фракции «Яблоко» и членом Центральной избирательной комиссии РФ с правом совещательного голоса. Но затем убедился в том, что мои суждения и рекомендации (скажем, по поводу тех или иных законопроектов) если и принимаются политиками, то лишь потому, что они так или иначе соответствуют их интересам и / или идеологическим предпочтениям. А раз так, то стоит ли тратить время и силы на эту деятельность?

Поскольку сфера моих научных интересов связана с исследованиями современной российской и постсоветской политики, то мне, возможно, не так трудно, как другим коллегам, объяснить содержание моей работы окружающим, в том числе и тем, кто не является специалистами в социальных и гуманитарных науках. Скорее, сложность состоит в ином: едва ли не все проявляющие хоть какой-либо интерес к политике обладают своими (как правило, отнюдь не научными) представлениями о должном и сущем в этой сфере и не всегда готовы при-



нять точку зрения исследователя в качестве обоснованного научного знания, тем более что многие «политологи» и впрямь не слишком утруждают себя научной аргументацией.

Но на эту же ситуацию можно взглянуть и по-иному: в нынешних российских условиях для специалиста-политолога (по крайней мере, пока) существуют возможности для просвещения широкой публики посредством публикаций и выступлений в СМИ, и не только. Успешным примером такого рода может служить блог моего коллеги по Европейскому университету в Санкт-Петербурге Григория Голосова «Институциональная инженерия». Блог посвящен критическому анализу российских политических институтов и путей их возможного реформирования (см.: <<http://slon.ru/blogs/ggolosov>>). Впрочем, я, увы, вынужден признать, что внимания к просветительской стороне собственной деятельности уделяю недостаточно.

Та же сложность касается и пресловутой «практической стороны исследования». При подаче заявок на гранты и представлении себя «для внешнего взгляда», казалось бы, нет нужды лишний раз убеждать в общественной актуальности изучения современных политических процессов в нашей стране и притворяться на тему того, что мои научные работы якобы будут способствовать улучшению политики и управления в России. Все знают, что никакого улучшения нет, да и не предвидится. Во всяком случае, мне не надо «притягивать за уши» свои научные проекты к меняющимся приоритетам тех или иных финансирующих организаций, подобно тому как это порой приходится делать ряду коллег. Но при этом от политологов обычно ждут тех или иных прогнозов политического развития, а эта задача с научной точки зрения явно неблагодарная. Прогностические возможности политической науки (если речь идет о более или менее значимом временном горизонте, а не об ответе на вопрос о том, кого завтра назначат губернатором N-ской области) довольно ограничены, и поэтому очень часто такого рода прогнозы сводятся к профанации, т.е. проецированию текущей ситуации на будущее с теми или иными вариантами как в «лучшую», так и в «худшую» сторону. Но при этом за пределами внимания неизбежно остаются факторы, которые либо в данный момент не кажутся значимыми и потому не принимаются в расчет, либо в принципе не могут быть учтены.

Даже в столь стабильной политической системе, какая существует в США, едва ли кто-то предполагал накануне президентских выборов 2000 г., что в течение всего лишь двух с половиной лет страна переживет трагедию 11 сентября, а затем вяжется в войну в Ираке. Что уж говорить об изучении политики в России: ведь недемократические режимы в большинстве

стран обычно куда менее предсказуемы, чем демократии. В этом смысле исследователям приходится нелегко: велики риски того, что даже текущий анализ (а не только прогноз) имеет шансы устареть еще до публикации.

В целом, как мне кажется, сегодня в России обществоведческая и, в частности, политологическая экспертиза становится все менее востребованной. С одной стороны, это делает нынешний спор о соотношении теоретических и прикладных социальных исследований менее актуальным. С другой — рано или поздно спрос на социальное и политическое научное знание в нашей стране возникнет вновь, и тогда лидерами в науке окажутся те, кто сможет, не утратив академической фундированности, предложить аргументированные ответы на важные для общества вопросы. Надеюсь, в их числе окажутся и мои сегодняшние и завтрашние ученики.

### Библиография

Гельман В. Электоральные исследования в российской политологии: «нормальная наука» в «нормальной стране»? // Политическая наука в России: проблемы, направления, школы (1990–2007) / Под ред. О. Малиновой и др. М.: РОССПЭН, 2008. С. 62–82.

## ИВАН ГРИНЬКО<sup>1</sup>

**1**

Следуя логике построения вопроса, ученый — это не человек, поскольку то, что интересно ему, почти а priori не может быть интересно представителю Homo sapiens sapiens. С такой постановкой проблемы согласиться нельзя. Этнология (равно как и археология с антропологией) — это наука о человеке и его сообществах. Как она может быть в принципе не интересна любому человеку с IQ выше 70?!

**Иван Александрович Гринько**  
Московский государственный  
университет  
им. М.В. Ломоносова  
wagrishe@gmail.com

В данном случае вопрос относится не к сущности этнологии, а к коммуникации между

<sup>1</sup> При написании текста были использованы тезисы и материалы магистерской диссертации автора «Российская этнология как социокультурный проект», написанной в Московской высшей школе социальных и экономических наук. Пользуясь случаем, автор благодарит студентов и преподавателей факультета управления социокультурными проектами, без чьего участия эта работа не могла бы состояться.

научным сообществом и «остальным миром». Клайд Клакхон препарировал эту проблему 70 лет назад.

*Для того чтобы понять человеческую природу, искатели приключений от антропологии исследовали обходные пути времени и пространства. Это захватывающее занятие — настолько захватывающее, что антропологи имеют тенденцию писать только друг для друга или для других ученых. Большая часть исследований по антропологии состоит из статей в научных журналах и неприступных монографий. Эти сочинения изобилуют странными названиями и незнакомыми терминами, они слишком специальные для обычного читателя. Возможно, некоторые антропологи помешались на деталях как таковых. Например, существуют целые монографии, посвященные таким темам, как «Анализ трех сеток для волос из области Пахамак». Даже для других исследователей человека значительная часть антропологических занятий кажется, по выражению Роберта Линда, «отчужденными и поглощенными самими собой» [Клакхон 1998: 30–31].*

Положение вещей не сильно изменилось, как в отечественной этнологии, исторически оторванной от общества, так и в западной [Eriksen 2006]. И именно это можно считать одной из главных причин ее кризиса и абсолютной непопулярности.

В этом отношении очень показательны итоги проекта “Open space” по определению наиболее влиятельного интеллектуала России. В сотню наиболее известных умов страны не попал ни один этнолог. Сваливать это лишь на общий низкий культурный уровень аудитории российского сегмента Интернета нельзя, даже при условии, что победил в конкурсе Виктор Пелевин, а конкуренцию ему составили Даниил Шеповалов и Александр Дугин.

В первую сотню признанных интеллектуалов вошли ученые, причем гуманитариев среди них было достаточно: историки — Юрий Афанасьев, Наталья Нарочницкая, Сергей Кара-Мурза<sup>1</sup>; культурологи — Борис Гройс, Григорий Ревзин, Михаил Ямпольский, Владимир Паперный; социологи — Даниил Дондурей, Борис Дубин; экономисты — Михаил Делягин, Евгений Ясин, Александр Долгин, Александр Аузан. Единственным этнологом оказался Эмиль Паин, занявший «почетное» 277-ое место, но и он в большей степени является политологом, чем профессиональным этнологом.

Что характерно, британской этнологии тоже пришлось пережить подобный удар. В 2004 г. журнал “Prospect” организовал

<sup>1</sup> В данном случае профессиональные характеристики этих «историков» не так важны, как сам факт их присутствия в рейтинге.

аналогичный опрос, и в сотне самых влиятельных интеллектуалов Великобритании также не оказалось ни одного этнолога, хотя туда попали и социологи, и историки, и биологи. Любопытно, что в тихой Норвегии по итогам голосования три культурных антрополога оказались сразу в первой десятке ведущих интеллектуалов. Это достаточно наглядно доказывает тот факт, что положение той или иной науки (и ее представителей) в обществе обуславливается не столько актуальностью исследуемых ею проблем (Россия) или сложившимися научными традициями (Британия), сколько обеспечением устойчивой связи между научным сообществом и окружающим миром.

Что касается второй части вопроса, то обычно после рассказа о предмете моей научной деятельности большинство специалистов настоятельно просили прислать текст диссертации. Интерес к соматическим модификациям (искусственным изменениям тела, связанным с социокультурными нормами) естественен и понятен. Неестественно как раз то, что эту любопытнейшую для простого читателя тематику столько лет обходили стороной.

Последний вопрос мне не совсем понятен как гражданину Российской Федерации. 90 % профессиональных этнологов так или иначе живут за счет бюджета, т.е. за счет налогоплательщиков, получая деньги либо в государственных учреждениях, либо опосредованно через государственные же научные фонды. На мой взгляд, российские налогоплательщики имеют право знать, на что идут их деньги. И если у ученого есть чувство гражданской ответственности, он не может, а должен обосновывать необходимость своих исследований. Мне как налогоплательщику, например, хотелось бы узнать, почему треть защищенных в 2009 г. кандидатских диссертаций в ИАЭ РАН была посвящена Гагаузии? Неужели этот регион так жизненно важен для России и российской этнологии, или другие темы закончились?

2

Если этнология не обращает внимания на окружающую жизнь, то это не наука — это или философия, или метафизика, или работы Л.Н. Гумилева. Этнология — это и есть наука об окружающей жизни. Над подобным искусственным разделением еще сто лет назад иронизировал Н.Н. Харузин:

*Если следовать мнению, отделяющему этнологию от этнографии, придется известное лицо, пока оно описывает один народ за другим — считать этнографом, но как только то же лицо начнет среди описанных им явлений устанавливать связь между причиной и следствием — оно внезапно перестает быть этногра-*

*фом и становится этнологом. <...> Показалось бы крайне странным, если бы кто-нибудь предложил в ботанике отделить изучение растений от выводов, получаемых от этого изучения [Харузин 1901: 5–6].*

Исключение, по сути, составляют историография и методология этнологии, но только на первый взгляд, потому что они также базируются на изучении сообществ — сообществ профессиональных ученых.

Прикладное исследование — это не приземленная наука. Это концентрация теоретического потенциала и опыта науки для решения одной конкретной задачи. Никакого разделения здесь нет и быть не может.

О поколенческих предпочтениях здесь также тяжело вести речь, поскольку рынок прикладных исследований в России до сих пор практически не сформирован — вариантов уйти с головой в прикладную работу не так много. Предпочтениям пока неоткуда возникнуть. Да и структура научных школ не подразумевает подобной «оппозиционности».

3

Во-первых, «правду говорить легко и приятно», поэтому лучше всего описывать реальное положение вещей. Во-вторых, любому этнологу очевидно, что фразы в подобных текстах (особенно авторефератах) — лишь часть ритуала, и как любой ритуал формального смысла они лишены. Есть стандартные формы, и их надо стандартно заполнить, соотносясь с конкретными задачами — не более того.

Что же касается позиционирования, то в памятке соискателю ученой степени указано, что тот «должен показать себя зрелым научным сотрудником, умеющим грамотно ставить и решать научные проблемы, владеющим как высокими теоретическими знаниями, так и практическим опытом». Т.е. любой ученый даже на этой стадии фактически обязан быть экспертом, который в состоянии решать научные проблемы в своей отрасли, и этого более чем достаточно для внешнего позиционирования. Человеку не нужен хранитель традиций или абстрактный творец — ему нужен конкретный ответ на конкретный вопрос. Ему нужен эксперт.

4

Трудно говорить о единых критериях выделения грантового финансирования, поскольку принципы американского частного фонда и отечественного государственного все-таки не одинаковы. В целом опыт работы, например, с частными российскими фондами показывает, что их решения имеют четкую логику, и по этой причине их тяжело назвать неадекватными.

В остальном здесь действует старая, но правдивая поговорка: «Кто девушку ужинает, тот ее танцует». В любом случае окончательное решение всегда принадлежит фонду, поскольку это его деньги. Другой вопрос, что грамотная «девушка» (ученый) может объяснить выгоду и перспективы долгосрочных взаимоотношений, таким образом, подправив или обойдя критерии. Поэтому в идеальном варианте работы фонда подобного противопоставления быть не должно, а критерии должны являться компромиссом между интересами двух сторон. В противном случае меритократия может быть еще хуже власти капитала.

5

В трех словах — извращенной советской системой. Началом конца стали 1920-е гг., когда была разрушена очень гибкая система самостоятельных научных сообществ и наука начала превращаться в государственную структуру. Несмотря на оценки этого периода некоторыми исследователями как «золотого века российской этнологии», гораздо вернее назвать его периодом декаданса. Те плюсы, которые получила этнология: «устойчивый статус самостоятельной научной дисциплины, институциональное оформление и стабильное государственное финансирование» [Соловей 2003: 232] — очень скоро стали минусами, поскольку убили всякую мотивацию к прикладным исследованиям и лишили ученых возможности независимых исследований. Даже на государственном уровне экспертиза национальных вопросов свелась к редким и нерегулярным докладным запискам. А кроме государства, которое национальный вопрос считало абсолютно решенным, заказать прикладные исследования при социалистической экономике было некому. Как итог — полная деградация специальности.

Помимо этого существуют другие причины. Экономическая ситуация далеко не всегда дает возможности изыскивать дополнительные средства на прикладные этнологические исследования. Крупные компании (например, «Сахалин Энерджи» в 2009 г.) могут себе такое позволить, но это все равно остается единичными случаями.

С точки зрения законодательства у этнологов нет закона, аналогичного Федеральному закону от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», который дает археологам возможность проводить охранные работы и тем самым изыскивать дополнительные источники финансирования.

Третья причина, может быть, самая серьезная — пассивность самого научного сообщества в вопросе скорейшего выхода на рынок и монетизации профессионального знания. На последнем всероссийском Конгрессе этнографов и антропологов

(Оренбург, 2009 г.) из 42 секций ни одна не была посвящена проблематике прикладных исследований, хотя, казалось бы, в условиях недостаточного бюджетного финансирования эта тема должна была стать одной из самых актуальных.

Четвертая — малая известность и оторванность этнологии от общества. Для сравнения: книга «Занимательная химия» увидела свет в 1957 г., а «Занимательная этнология» — в 2009 г., хотя, казалось бы, читать о жизни и обычаях индейцев или аборигенов гораздо интереснее, чем о неорганических соединениях. Ничего подобного английской “Anthropology for Dummies” в России нет и не планируется. В итоге житель Российской Федерации может окончить школу с золотой медалью и не знать даже термина «этнология». А игры в слова, когда одну и ту же, по сути, науку именуют 6–7 разными терминами (договорились даже до социальной этнографии — наверное, бывает и асоциальная), не облегчают задачу, а только ее усугубляют. Чтобы выходить на рынок, необходимо показать товар лицом, а не прятать его в кокон интеллектуализма.

### Библиография

- Клакхон К.* Зеркало для человека: Введение в антропологию. СПб.: Евразия, 1998.
- Соловей Т.Д.* Отечественная этнология: от «золотого века» в 1920-е годы, к кризису 1990-х годов // Академик Ю.В. Бромлей и отечественная этнология. 1960–1990-е годы. М.: Наука, 2003.
- Харузин Н.Н.* Этнография. СПб.: Государственная типография, 1901–1905.
- Eriksen Th.H.* Engaging Anthropology. Oxford: Berg, 2006.

## НОРА ДАДВИК

1

Я думаю, в академическом мире существует несколько стимулов для добросовестной работы — не только интерес исследователя к теме, но и практические соображения, связанные с карьерой ученого. В сфере инициатив по развитию, в которой я работаю (Всемирный банк), также присутствует множество факторов. Для меня (я думаю, это верно и для моих коллег) необходимо найти тему, представляющую интерес. Однако «значимость» или «практическая применимость» работы, измеряемая тем,

**Нора Дадвик (Nora Dudwick)**  
Всемирный банк, Вашингтон,  
США  
Ndudwick@worldbank.org

насколько она меняет принятый в банке дискурс или влияет на проекты или даже политику страны, также является важной. Я не знаю, в какой научной традиции писание работы для немногих избранных является гарантией качества. Напротив, даже в теоретической работе (по крайней мере, в социальных науках, я не могу рассуждать о математике) ограничение аудитории ограничивает широту и глубину критики. Я должна писать для аудитории неспециалистов, причем это не означает, что мне приходится чересчур упрощать текст, однако необходимо подавать материал на языке, доступном людям из других областей знания. На самом деле, меня все более и более раздражает витиеватый язык и жаргон, который характеризует многие современные антропологические сочинения.

2

Мои исследования являются вполне прикладными не только из-за требований, которые накладывают мои повседневные трудовые обязанности. Я считаю теоретическую проблематику также очень важной. Например, работа в сфере развития включает контакты с теми или иными сообществами — именно здесь теоретическая традиция проблематизации подобных категорий становится весьма важной практически, чтобы программы по развитию не работали с упрощенными или мифологизированными представлениями о «сообществе».

3

Эта тенденция не затрагивает меня лично, поскольку «вероятный практический эффект» является вполне эксплицитно основной задачей того, что я делаю в банке. Любое исследование не должно приносить вред, но слишком узкое истолкование «возможных практических последствий» было бы близоруким.

4

5

В антропологии существует множество ученых, включая широко известных, которые курсируют между научной и прикладной работой. Думаю, что прикладные исследования не обладают тем же статусом, что и академические исследования, по целому ряду причин. Реальность такова, что немалая часть прикладной или этнографической работы является «быстрой и грязной» версией исследования, проводимого в академическом мире. Иногда это губительно сказывается на качестве и даже на надежности находок, а иногда такого рода исследования приносят свою пользу. Мне кажется, экономика нашей профессии такова, что многие первоклассные антропологи, которые в былые времена работали бы в академическом мире, на сегодняшний день идут в сферу прикладных исследований (по крайней мере, в качестве консультантов), что позитивно сказывается на качестве и статусе прикладных исследований.

*Пер. с англ. Аркадия Блумбаума*



## МЕЛИССА Л. КАЛДВЕЛЛ

**Прикладная антропология  
в Соединенных Штатах:  
ангажированность, обязательства, этика**

Вопрос, который часто задают студенты моего отделения, звучит так: какую пользу принесет им в их будущей карьере степень по антропологии? С одной стороны, этот вопрос является предсказуемым и указывает на общераспространенную тревогу студентов, которые готовятся к поискам работы, а также к тому, что им придется после окончания университета полагаться только на себя. С другой стороны, этот вопрос обнажает представление об антропологии, не лишенное сомнений. Как говорят студенты, задающие этот вопрос, подлинной проблемой является убедить родителей, нередко помогающих оплачивать обучение, что антропология — столь же легитимный и продуктивный объект инвестиций, обладающий успешными перспективами, как и другие, более «практические» области, такие как инженерное дело, медицина, право или программирование. Большинству внешних наблюдателей антропология представляется исключительно научной областью, в рамках которой студенты обучаются только тому, как проводить исследования по эзотерическим темам, читать сложные теоретические тексты, а также писать статьи, которые во всем мире понимает лишь горстка людей, причем все они получают очень скромную зарплату. С подобными представлениями было бы трудно спорить на факультете вроде моего, который обладает репутацией программы, производящей ученых, чьим коньком является создание социальной теории.

Конечно, подобные перспективы не вполне соответствуют реальности. Преподаватели стремятся уверить студентов (а также их родителей), что антропология является одной из наиболее универсальных наук для

**Мелисса Л. Калдвелл**  
**(Melissa L. Caldwell)**  
Университет Калифорнии,  
Санта-Круз, США  
lissa@ucsc.edu

будущей карьеры. Демонстрируя сферы, навыки в которых можно приобрести при обучении антропологии (критическое мышление, количественные и качественные исследования, риторика, иностранные языки, социокультурная антропология, археология и физическая антропология), преподаватели указывают, что тот, кто выбирает антропологию в качестве основной специальности, может использовать образование и для ненаучной карьеры. Это право и медицина, политика и финансы, маркетинг и менеджмент, журналистика и кино, социальное обеспечение и пр.

То, что студенты и их родители отнюдь не сразу осознают, что антропология охватывает широкий спектр знаний, также является симптомом долгосрочной тенденции в североамериканской антропологии, заключающейся в разделении более традиционных форм «научной» антропологии и антропологии «прикладной», причем первый тип оказывается в привилегированном положении, будучи более желательным и ценным. В Северной Америке прикладная антропология не без труда вписывается в антропологию как большую отрасль знания. Рассматриваемая в качестве методики и профессиональной практики, а не теории или даже субдисциплины, прикладная антропология чаще ассоциируется с исследованиями, проводимыми для корпораций, госучреждений, а также институтов, занимающихся общественно-политическими проблемами, чем с самостоятельной научной антрепризой. Существует особое профессиональное общество антропологов-прикладников — Национальная ассоциация антропологической практики (National Association for the Practice of Anthropology). Будучи одной из секций Американской антропологической ассоциации (American Anthropological Association), НААП выступает спонсором панелей, посвященных проблемам, которые интересуют ее членов, на ежегодных конференциях ААА, устраивает свои собственные автономные конференции, а также публикует журнал, в котором антропологи-практики помещают свои статьи.

Несмотря на то что витальность НААП свидетельствует о значимости прикладной антропологии, подготовка студентов для дальнейшей работы в сфере прикладной антропологии является проблематичной, поскольку лишь несколько отделений предлагают курсы по исследовательским методам или предоставляют возможности интернатуры, где студенты приобретают практический опыт проведения исследований и работы для неакадемических нанимателей. Разрыв оказывается настолько жестким, что на ученых, занимающихся прикладными исследованиями, нередко смотрят так, будто они покинули беско-

рыстный академический мир и переместились в параллельный универсум прибыльного труда. Коллега, получившая докторскую степень в области социокультурной антропологии, но работающая в качестве антрополога-прикладника в глобальной компьютерной компании, отмечает, что даже если она занимается этнографическим исследованием того же типа, что и университетские коллеги, она сталкивается с трудностями по поводу публикаций, поскольку рецензенты считают прикладные исследования менее желательными и строгими.

Имплицитное и даже эксплицитное пренебрежительное отношение к прикладной антропологии забавным образом затемняет истоки данного научного поля. Обычно прикладная антропология описывается как относительно недавнее ответвление академической антропологии и следствие сокращения числа рабочих мест для антропологов на протяжении последних двадцати лет, что вынудило многих аспирантов, пишущих бакалаврские, магистерские и докторские квалификационные сочинения, искать работу за пределами академических структур. Однако нарративы, представляющие прикладную антропологию в качестве относительно недавнего явления, не учитывают то, как антропологи прошлого включали прикладные методы и ценности в свои исследования. Антропологи вроде Франца Боаса, Э. Эванса-Причарда, сэра Эдмунда Лича, Рут Бенедикт и Мери Дуглас — наряду со многими другими — проводили исследования, которые обладали значимостью как для ученых, интересовавшихся теоретическими и этнографическими проблемами, так и для не ученых — прежде всего правительственных чиновников и бюрократов. Последних волновали такие критические вопросы, как политическая стабильность в местных сообществах и внутренняя политика.

Например, исследование Франца Боаса, посвященное расе, биологии и культуре, было напрямую вдохновлено его критическим взглядом на евгеническую политику [Boas 1982 (1940)], а исследование Эванса-Причарда о социальной структуре нуэров оказалось полезным для британской колониальной политики в Судане [Evans-Pritchard 1960]. основополагающая книга Лича “Political Systems of Highland Burma” [Leach 1964] выросла из его военной службы во время Второй мировой войны, включая службу в бирманской армии.

Вклад Рут Бенедикт в прикладную антропологию был еще более очевидным. Во время Второй мировой войны она составляла психологические портреты противников Америки — японцев и немцев [Benedict 1946]. Что касается Дуглас, ее исследования институций [Douglas 1986], загрязнения окружающей среды [Douglas 1966], а также риска [Douglas 1992] продолжают

вдохновлять как современных исследователей, так и практические начинания в таких разных сферах, как инженерное дело, страховой бизнес и экология.

К счастью, профессиональные практики и личные мнения, не принимающие в расчет длительную историю прикладной антропологии и сегрегирующие ее в качестве особого интеллектуального и профессионального пространства, меняются по мере того, как все большее число антропологов внутри и вне академии проводит исследования, у которых есть определенная «цель». Используя такие термины, как публичная антропология и ангажированная антропология, а также опираясь на методы совместных действий (*participatory action methods*), сторонники новой «целевой» антропологии обращаются к этнографическим данным и аналитическому подходу. Их могут использовать местные сообщества, изучаемые этнографами, для них они обладают ценностью и могут повлиять на них.

Этот сдвиг отражает как эволюцию теоретических и этнографических интересов в рамках самой антропологии, так и меняющиеся этические обязательства. Обязательство быть ответственным перед теми, кого мы изучаем, стало эксплицитным компонентом антропологии за последние несколько десятилетий, оно вдохновлялось в немалой степени событиями 1960-х гг., связанными с проектом «Камелот», когда антропологи и другие специалисты по социальным наукам проводили исследования, использовавшиеся американским правительством, часто во вред тем, кто являлся объектом исследования. Однако в последнее время антропологи, приверженные ценностям социальной справедливости, все больше и больше отстаивали активистскую реализацию этих идеалов, стремясь сделать общества более человечными и эгалитарными. Неслучайным, видимо, является тот факт, что антропология на протяжении длительного времени являлась прибежищем для идеалистически настроенных молодых людей, которые впервые столкнулись с идеалами социальной справедливости и обязательствами перед местными сообществами благодаря таким волонтерским программам, как Армия Мира.

Постоянно возникающей темой заинтересованной или публичной антропологии нынешнего времени является интерес к разоблачению неравенства и решению этой проблемы. Медицинская антропология, антропология общественного здравоохранения, антропология бедности, а также городская антропология находились и находятся на передовых позициях исследований этого типа, когда ученые занимаются такими разными проблемами, как беженский опыт во время войны

и в послевоенных обществах вроде Танзании и Боснии [Malkki 1995; Wagner 2008], структуры неравенства, порождающие социальный опыт бездомности, голода, наркомании и преступности [Bourgois 1995; Bourgois, Schonberg 2009; Desjarlais 1997; Smart 2001], политика неравного доступа к медицинскому обслуживанию [Biehl 2007; Farmer 2003; James 2010; Petryna 2002; Ticktin 2006], а также то, как выстраиваются и оспариваются права человека, как их заставляют соблюдать и как их отрицают [Merry 2006].

В рамках антропологии, а также социальных гуманитарных наук в целом существуют также определенные темы, которые позволяют без труда снимать предполагаемый разрыв между «научной» и «прикладной» антропологиями. Типичными в данном случае являются такие темы, которые или затрагивают современные, реальные мировые проблемы вроде глобальной политики [Holmes 2000], системы международной помощи по развитию [Mosse 2005], глобальной финансовой системы [Ho 2009], и социального опыта расизма, сексизма, а также других форм бесправия на эссенциалистских основаниях [Anderson 2009], или репрезентируют течения, популярные у читателей-неспециалистов, — Интернет, другие медиакультуры [Boellstorff 2008; Malaby 2009], социальное формирование естественных наук и специалистов по этим наукам [Hayden 2003; Helmreich 2009; Petryna 2009; Zabusky 1995].

Занимаясь всеми этими темами, антропологи нередко обнаруживают, что работают бок о бок или в сотрудничестве с докторами, адвокатами, учеными-естественниками, инженерами, социальными работниками, волонтерами, пациентами и жертвами, с реальностью, которая меняет природу этнографического исследования. Вместо иерархического проекта ученых, изучающих Другого, возникает совместный проект, в рамках которого ученые оказываются более жестко встроенными в те сообщества, которые они исследуют.

Антропологи, занимающиеся этой тематикой, варьируются в зависимости от того, насколько строго они связывают свои исследования с общественно-политическими программами. Антропологи вроде Пола Фармера, основателя «Партнеров по здоровью», глобальной общественной медицинской организации, или Филиппа Бургуа, ревностного защитника наркоманов, репрезентируют наиболее страстный и хладнокровно неапологетический сегмент этого спектра. В некоторых случаях антропологи сами играют двойные роли, как антропологи-врачи Пол Фармер, Байрон Гуд и Артур Клейнман. Ангажированные антропологи обычно не забывают о своей привилегированной позиции исследователей, однако для них существуют

этические обязательства использовать свою привилегированную позицию на пользу тех, с кем они сотрудничают.

Однако простое проведение исследований по тематике, затрагивающей проблемы, волнующие общество в более широком смысле, и рассчитанной на отклик неантропологической аудитории, не является достаточным, чтобы превратить исследование в образчик «прикладной» антропологии. Важной особенностью прикладной антропологии является ее доступность неспециалистам, которые могут ничего не знать о теориях и методах антропологии. Поэтому типичным для прикладной антропологии является использование аналитических подходов и литературных стилей, нацеленных на широкую аудиторию, а не на других ученых и студентов. Антропологи давно уже отдают привилегированное положение письму (writing) как составляющей этнографического проекта [Clifford, Marcus 1986], но обязательство писать для широкой, неакадемической аудитории является скорее недавней тенденцией, причем эта тенденция свойственна отнюдь не всем антропологам. Ища пути в печать помимо традиционных научных журналов, ангажированные антропологи распространяют результаты своих исследований через газетные статьи, интернет-блоги, общественно-политические форумы, популярные журналы и книги для неспециалистов.

Признавая эти новые направления в сфере распространения результатов антропологических исследований, издатели создают специальные серии книг, журналов и цифровых носителей, предназначенных для ангажированной антропологии. Например, у издательства Калифорнийского университета есть специальная категория «публичной антропологии», т.е. антропологических исследований, интересных широкой аудитории.

Наделение приоритетным положением «воздействия», «влияния» в нынешних этнографических исследованиях поддерживается и финансовыми организациями. Все чаще и чаще частные и общественные фонды просят исследователей рассказать о том, на что и как должно повлиять их исследование. В некоторых случаях это влияние может заключаться в количестве и типах публикаций, которые станут результатом работы. В других предполагаемый практический результат исследования должен включать то, как это исследование может быть использовано обществом в целом, в государственной политике или даже в подготовке студентов. Знаменательно, что Национальный научный фонд (американский государственный фонд) требует от подающих заявки на гранты, чтобы они рассказали, как их предполагаемые исследования помогут меньшинствам (как тем, кого исследуют, так и студентам) — через

обнародование результатов работы в случае тех, кто является объектом изучения, или использование этих результатов для подготовки учащихся. В свою очередь от рецензентов заявок требуют описать и оценить потенциал «широкого воздействия» предполагаемых исследований. Международный комитет по исследованиям и обмену (International Research and Exchange Board, IREX), другой общественный фонд, оказывающий поддержку исследованиям в России и других постсоветских странах, требует от подающих заявки написать короткий текст о том, как их исследования будут способствовать целям американской внешней политики.

Эти условия необходимо соблюдать в заявках на получение грантов, что связано со стремлением американского правительства собирать информацию об обществах других государств. Кроме того, они мотивируются американскими налогоплательщиками и жертвователями, которые хотят, чтобы фонды и их бенефициарии были подотчетными в том, что касается ответственного использования средств, предоставляемых на исследовательскую работу. В этом смысле описание предполагаемых практических результатов требует от ученых предсказать, а затем и доказать не просто достоинства своих исследований, но и потенциал их успеха и эффективности.

Внимание к таким аспектам, как воздействие и распространение результатов исследования, показывает, насколько «прикладной» характер работы является не уникальным или особым, но обычной составляющей антропологического исследования. Исходя из моего опыта и опыта нескольких ближайших коллег и студентов, чья работа обладает отчетливо прикладным измерением, могу сказать, что я отнюдь не стартовала с занятий прикладной антропологией. Просто с течением времени все отчетливее и отчетливее мои исследования инкорпорировали прикладную точку зрения в рамках эволюции моих исследовательских интересов, требований фондов, моих этических взглядов, а также взаимоотношений, которые я выстраивала как с людьми в полевой работе, так и с учеными и другими наблюдателями, интересовавшимися моими находками.

Например, одним из первых проектов было исследование того, как появление в России в 1990 г. «МакДональдса» повлияло на традиционные российские пищевые предпочтения, а также культуру еды и общения. В основе моего исследования были теоретические вопросы о том, является ли глобализация процессом культурного империализма и гомогенизации. Я провела много часов, посещая рестораны «МакДональдс» по всей Москве и наблюдая, что делают клиенты (например, как они делают заказ, поглощают еду, приносят ли с собой другую



пищу, садятся ли отдельно или вместе с другими людьми, а также все то, что они делают помимо питания). Кроме того, я брала интервью у людей, чтобы познакомиться с их опытом и мнениями относительно «МакДональдса». Когда я посещала людей в их квартирах, я обращала внимание на то, упоминалась ли культура фастфуда в наших разговорах и их поварских практиках. Помимо этого я посещала другие рестораны фастфуда и бакалейные магазины, а также отслеживала, что пишут о «МакДональдсе» и других заокеанских пищевых корпорациях в средствах массовой информации и профессиональных деловых журналах.

Статья, возникшая на основе этого исследования, сочетала детальное этнографическое описание потребительской культуры «МакДональдса» и теоретические соображения о природе процессов, вписывающих глобальные структуры в местный контекст [Caldwell 2004a]. Забавными и удивительными были трудности, с которыми я столкнулась, пытаясь опубликовать эту статью. Сначала я посылала ее в антропологические журналы. Верно указывая ошибки в ранних версиях моих теоретических выкладок, рецензенты задавали вопрос о том, является ли на самом деле исследование «МакДональдса» подходящей темой для этнографа. Некоторые рецензенты были особо обеспокоены тем, что мое исследование было не более чем рекламной брошюрой «МакДональдса». Со временем, после того как я внесла поправки в мои построения, статья была принята для публикации в журнал, посвященный потребительским исследованиям и особо заинтересованный теориями глобализации и потребления. Для рецензентов этого журнала оказалось значимым то, как исследование «МакДональдса» помогает понять процессы, благодаря которым обычные люди принимают, отвергают и меняют корпоративные культуры. С момента публикации я получила отклики не только от антропологов и специалистов в области других социальных наук, но и от людей, работающих в корпоративном мире ресторанов и пищевых технологий. Поэтому, хотя я и не подавала мое исследование в качестве эксплицитно прикладного проекта, оно было воспринято как работа, сделанная в жанре прикладной антропологии.

Быть может, еще более сильным примером того, как моя работа ненамеренно оказалась сфокусированной на прикладной проблематике, является проведенное мною исследование бедности и системы соцобеспечения в России. В 1997 г. я начала изучать проблемы недостаточного потребления и прежде всего того, как люди в России справлялись с нехваткой продовольствия и других товаров. Это привело меня в одну московскую



церковь, при которой существовало несколько бесплатных столовых. Устроившись волонтером на ежедневной основе и интервьюируя клир, персонал, а также волонтеров, их старых и немощных клиентов, местных соцработников и других активистов, я начала понимать идеологические основания представлений россиян о бедности и голоде, а также то, как в России создаются и мобилизуются структуры помощи [Caldwell 2004b]. Кроме того, я поняла важные вещи относительно того, как действуют в России благотворительные организации, а также учреждения соцобеспечения.

Это знание повлияло на мои дальнейшие разыскания, посвященные эволюции московского сообщества религиозных благотворительных организаций. На этом (совсем недавнем) этапе моего исследования я завязала более тесные контакты с благотворительными организациями и учреждениями соцобеспечения, помогающими неимущим слоям Москвы. Я посещала совещания персонала, мероприятия, связанные с добыванием средств, встречи с жертвователями, фондами, госчиновниками, пояснительные мероприятия для клиентов, в том числе потенциальных, а также наблюдала за подготовкой персонала и волонтеров. Благодаря всем этим встречам я смогла собрать документальный материал о деятельности и точках зрения представителей этих сообществ, а также проследить, как эти программы и сообщества меняются с течением времени.

Одним из неожиданных следствий моего долгосрочного исследования этого сообщества стало то, что моя работа оказалась наиболее официальным, всеобъемлющим и последовательным описанием этой деятельности. Данное сообщество не обладает постоянным характером, поскольку клиенты, волонтеры и персонал часто перемещаются в другое место (через несколько месяцев, год или два). И тем не менее, поскольку я возвращаюсь каждый год, а иногда и по несколько раз в год, я стала одним из наиболее постоянных и неизменных членов сообщества. Благодаря тому что я провела столь длительное время в этом сообществе, я стала подлинным «экспертом» и официальным «архивистом». В результате за последние несколько лет меня все чаще и чаще просят о предоставлении практической информации об этом сообществе новичкам, а также о рекомендациях новым сотрудникам, репрезентации и поддержке данного сообщества в общении с внешним миром, например на встречах с представителями фондов или средств массовой информации. Вне моей полевой работы в Москве меня приглашают американские журналисты и политики, которым требуются экспертное мнение относительно бедности, соцобеспечения и благотворительности в России. Я всегда чувствовала

этические обязательства по отношению к сообществам, которые изучала, и стремилась всеми силами к тому, чтобы мои исследования и публикации оказались полезными и помимо научной стороны дела. Но я никогда не надеялась на то, что достаточно быть этнографом, занимающимся долгосрочным исследованием, чтобы твоя работа приобрела прикладной характер. В этом отношении мое движение навстречу прикладной работе является естественной эволюцией и аккумуляцией самой исследовательской работы.

Как свидетельствует мой опыт, а также опыт упомянутых выше ученых, точка зрения, которая представляет прикладную антропологию в качестве иного типа антропологического проекта, является одновременно неверной и искусственной, поскольку она не учитывает те самые особенности, которые отличают антропологию в целом как значимую и уникальную науку: нашу способность принимать всерьез и объяснять точки зрения людей, которых мы изучаем, нашу приверженность тому, чтобы приоритетными оказывались их нужды и верования, а также наше стремление проводить долгосрочные исследования. Скорее, более адекватным было бы рассматривать «прикладную антропологию» не как выбор профессиональной точки зрения, а как движение по всему спектру, охватывающему антропологические исследования, издательские стратегии и популяризацию. Если мы, антропологи, будем честны с самими собой, мы сможем обнаружить те аспекты нашей исследовательской работы, издательской практики и даже преподавания, влияние которых выходит за рамки самых тесных профессиональных контактов.

### Библиография

- Anderson M.* Black and Indigenous: Garifuna Activism and Consumer Culture in Honduras. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2009.
- Benedict R.* The Chrysanthemum and the Sword. Boston: Houghton Mifflin, 1946.
- Biehl J.* Will to Live: AIDS Therapies and the Politics of Survival. Princeton: Princeton University Press, 2007.
- Boas F.* Race, Language, and Culture. Chicago: University of Chicago Press, 1982 (1940).
- Boellstorff T.* Coming of Age in Second Life: An Anthropologist Explores the Virtually Human. Princeton: Princeton University Press, 2008.
- Bourgeois Ph.* In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio. Cambridge: University of Cambridge Press, 1995.
- Bourgeois Ph., Schonberg J.* Righteous Dopefiend. Berkeley: University of California Press, 2009.

- Caldwell M.L.* Domesticating the French Fry: McDonald's and Consumerism in Moscow // *Journal of Consumer Culture*. 2004a. Vol. 4. No. 1. P. 5–26.
- Caldwell M.L.* Not by Bread Alone: Social Support in the New Russia. Berkeley: University of California Press, 2004b.
- Clifford J., Marcus G.E.* (eds.) *Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography*. Berkeley: University of California Press, 1986.
- Desjarlais R.* *Shelter Blues: Sanity and Selfhood among the Homeless*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997.
- Douglas M.* *Risk and Blame: Essays in Cultural Theory*. London: Routledge, 1992.
- Douglas M.* *How Institutions Think*. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 1986.
- Douglas M.* *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*. L.: Routledge & K. Paul, 1966.
- Evans-Pritchard E.E.* *The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People*. Oxford: Clarendon Press, 1960.
- Farmer P.* *Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor*. Berkeley: University of California Press, 2003.
- Hayden C.* *When Nature Goes Public: The Making and Unmaking of Bio-prospecting in Mexico*. Princeton: Princeton University Press, 2003.
- Helmreich S.* *Alien Ocean: Anthropological Voyages in Microbial Seas*. Berkeley: University of California Press, 2009.
- Ho K.* *Liquidated: An Ethnography of Wall Street*. Durham, NC: Duke University Press, 2009.
- Holmes D.R.* *Integral Europe: Fast-capitalism, Multiculturalism, Neofascism*. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- James E.C.* *Democratic Insecurities: Violence, Trauma, and Intervention in Haiti*. Berkeley: University of California Press, 2010.
- Leach E.R.* *Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structures*. Boston: Beacon Press, 1964.
- Malaby Th.M.* *Making Virtual Worlds: Linden Lab and Second Life*. Ithaca: Cornell University Press, 2009.
- Malkki L.H.* *Purity and Exile: Violence, Memory, and National Cosmology among Hutu Refugees in Tanzania*. Chicago: University of Chicago Press, 1995.
- Merry S.E.* *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*. Chicago: University of Chicago Press, 2006.
- Mosse D.* *Cultivating Development: An Ethnography of Aid Policy and Practice*. L.; Ann Arbor: Pluto Press, 2005.
- Petryna A.* *When Experiments Travel: Clinical Trials and the Global Search for Human Subjects*. Princeton: Princeton University Press, 2009.
- Petryna A.* *Life Exposed: Biological Citizens after Chernobyl*. Princeton: Princeton University Press, 2002.

- Smart A.* Unruly Places: Urban Governance and the Persistence of Illegality in Hong Kong's Urban Squatter Areas // *American Anthropologist*. 2001. Vol. 103. No. 1. P. 30–44.
- Ticktin M.* Where Ethics and Politics Meet: The Violence of Humanitarianism in France // *American Ethnologist*. 2006. Vol. 33. No. 1. P. 33–49.
- Wagner S.E.* To Know Where He Lies: DNA Technology and the Search for Srebrenica's Missing. Berkeley: University of California Press, 2008.
- Zabusky S.E.* Launching Europe: An Ethnography of European Cooperation in Space Science. Princeton: Princeton University Press, 1995.

*Пер. с англ. Аркадия Блюмбаума*

## ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ

### Прикладная антропология «сверху» и «снизу»

После прочтения анкеты не можешь отделаться от странного ощущения, что тебе предлагают какой-то хитроумный «люшер» в словесном выражении, и важна не та информация, не тот сюжет, которые ты выложишь, а что-то еще. Может быть, это происходит из-за странных формулировок, когда начало вроде бы об одном, а окончание совершенно неожиданным образом уводит в сторону. У меня есть нескромное предположение, что это, как и многое другое, что сейчас наблюдается в академических дискуссиях, является следствием общей «сме- ны парадигм» в нашей науке.

Начнем, так сказать, сначала. Я принадлежу к той, наверное, не слишком широкой генерации ученых, которых «недоучили» советской этнографии в провинциальном вузе в 1980-е гг., конечно же, из-за «вертикали», царившей тогда еще и в образовании. В следующее десятилетие мы испытали определенное влияние со стороны англоязычной, преимущественно американской, антропологии благодаря открывшимся грантовым возможностям. Разумеется, этот пример «двойного участия» (так, кажется, в свое

время Дэвид Мандельбаум говорил о Сэпире — американце, но выходец из хасидских закоулков Восточной Европы) не принес «душевного покоя», зато вытолкнул из строя, чтобы иногда можно было взглянуть на происходящее со стороны.

Ситуацию смены, перехода хорошо иллюстрирует повестка дня современной российской этнографии. Например, в ней до сих пор еще живет инерция собирать и описывать «сапоги и пироги» (Соколовский), доставшаяся нам от XIX в. Да и у меня лично сильно еще ощущение, что в этнографии отдельных регионов, например Кавказа, остаются «белые пятна»! В сравнении с тем, что на рубеже XIX—XX вв. сделали сотрудники Бюро американской этнологии и боасовцы, нам мало досталось в наследие по-настоящему добротных этнографических описаний. Да и чиновники, и национальные лидеры, обучавшиеся там же, где и мы, по-прежнему считают: как «нерушимую дружбу народов», так и национальные интересы лучше всего выражает демонстрация традиционных костюмов и кухонь.

Получается, что поиски разного рода пережиточной архаики и фольклоризмов, вместо того чтобы попытаться разобраться в социальных и экономических проблемах постсоветской реальности, к тому же погруженной не в вакуум, а в современный глобальный мир, часто все еще не требуют обоснования нужности / полезности ни у *anthros* (этнографов), ни у *natives* (информантов), среди которых очень много таких, кто стоит на переднем краю нативистских движений, ни у государства как у возможного спонсора этнографических исследований в стране. Конечно же, это замкнутый круг, который надо разорвать.

Прежде чем как-то охарактеризовать свою собственную работу, поддамся искушению восстать против предложенного «прокрустова ложа» (теоретическая / практическая антропология), а с этой целью предлагаю вспомнить еще об одной из сторон, заинтересованных в этнографических исследованиях. Ясно, что «высокая наука» интересна и предназначена лишь для академического сообщества, а когда говорят о нуждах общества вообще, то подразумеваются, во всяком случае в наших условиях, интересы государства, которые ничуть не менее корпоративны. Если же смотреть на все не сверху, а снизу, то между этими двумя группами по интересам окажется внушительное число других, и среди них наши информанты с этническими движениями, общностями, кланами и тайпами за ними.

Так что «прикладная антропология» — это не только выполнять в той или иной мере госзаказы и наниматься в качестве эксперта в (транс)национальные монополии. Всерьез и как раз

в противоположном значении это выражение начинают употреблять в 1948–1959 гг. Речь идет о теперь уже ставшем классикой «Проекте Фокс», который Сол Тэкс со своими студентами вел в интересах отнюдь не федерального правительства, в тот период нацеленного на ассимиляцию коренных американцев, а в интересах последних, вовсе не желавших ассимилироваться [Foley 1999]. В постколониальной мировой антропологии такая позиция превратилась чуть ли не в норму. Об этом свидетельствует и стратегия *empowerment*, которой придерживаются в своей полевой работе очень многие антропологи, и постмодернистская критика, звучащая в адрес наших классиков из уст Вайна Делории, Арджуна Аппадурая, Талала Асада и проч., и, наконец, законодательство многих стран, защищающее коренное население от волонтаризма археологов, к примеру, NAGRPA в США.

В нашей стране к прикладной антропологии «сверху» я бы отнес все-таки ту работу, которую до недавнего прошлого осуществлял Институт этнологии и антропологии в рамках программы EAWARN, а примером прикладника «снизу» предложил бы считать превосходного исследователя и правозащитника Александра Геннадьевича Осипова, десятилетиями выступавшего в роли адвоката (турок-)месхетинцев, испытывавших дискриминацию в Краснодарском крае [Осипов, Черепова 1996; Осипов 1999].

Что касается моего собственного куда более скромного опыта, то в 1990-е гг. вместе с рядом студентов и аспирантов я работал среди амшенских армян, понтийских греков и удин, а затем опубликовал полученные материалы [Studia Pontocausica 2–4 1995–1999]. Инициаторами и спонсорами работ выступали соответствующие национальные движения и их лидеры. Вопросы правозащитного характера в этих исследованиях прямо не ставились, не было там и апологии националистических версий истории, выгодных соответствующим элитам, но противоречащих науке. Но сам факт внимания со стороны ученых к этим забытым властью народам, тот уровень подачи материала, которого мы смогли достичь, поднимал авторитет наших спонсоров, а косвенно способствовал упрочению положения представляемых ими групп. Это похоже на исследования резервационных общин для самих этих общин в духе тэкссовской *action anthropology*, правда в меньших масштабах.

Мы подошли к очередной проблеме — проблеме «маски». Принципиально не согласен с тем, что этнограф должен спастись, скрывать что-то под «маской», когда работает в поле, что должны существовать некие профессиональные секреты, как входить и как выходить из поля. Рецепт прост и давно из-

вестен: шедевр не написать, если не жить у *natives* десятилетиями и не обрести общими с ними социальными связями, которые так просто не смахнуть с себя по возвращению домой. Один из самых читаемых в антропологии авторов, Наполеон Шэгнон, провел у яномамо около 20 лет! Золотой стандарт полевой работы был заложен Боасом и Малиновским, а у нас — «этнотройкой» (см.: [Гаген-Торн 1971]).

Однако то, что «включение» состоялось и вы стали «своим», например женившись на местной девушке либо переселившись и работая в сельской школе, вовсе не означает, что все вас должны полюбить и что у вас полностью атрофируются собственные интересы. Кто-то зарабатывает на жизнь, собирая фундук, а кто-то — песни и сказки. Там, как и здесь, могут быть доброжелатели и завистники, друзья и недруги. Но все усложняется, если вы выбрали себе роль прикладника «снизу». Тут уже к вам обращаются за помощью, имея в виду магические свойства написанного и особенно напечатанного. Времена, когда нужно было представляться «доктором», как делал это на Баффиновой Земле Боас, думаю, уже ушли.

Немного о грантовом финансировании и предполагаемых посягательствах на свободу исследователя. Рассуждать здесь о том, из какого множества векторов складывается политика фондов, которые нас финансируют, было бы непозволительной роскошью, учитывая другой диктат — пространственно-временной. Надеюсь лишь, что в нашей аудитории за поклонниками теории заговора — меньшинство. На мой взгляд, проблема не в том, что подчас, заполняя пункт заявки о «практической значимости», приходится переходить на международно-бюрократическую терминологию, высасывая ее буквально из пальца (и это выглядит неуклюже), и не в том, адекватны или нет критерии, которыми в отношении нас руководствуются грантодатели. Настоящий вопрос заключается в том, что чаще всего мы имеем дело с фондами, которые не являются специально антропологическими, и цели их, пусть даже благие, например построение гражданского общества в России, лежат за пределами этой профессии.

Если сформулировать это жестче, то вполне может оказаться так, что и мир, и наша углеводородная держава больше ничего не хотят и не надеются услышать от людей, которые говорят на птичьем языке, понятном лишь им самим, горстке чиновников, ответственных за толерантность, и верхушке подопытных национальных элит. Правила этого языка побуждают распределять окружающих по клеткам-этносам, искать в причинах чудовищных распрей на Кавказе «ментальный» либо «культурный» след и проч., при этом не слыша вопиющих вопросов

о бедности, коррупции, чиновничьем произволе, перспективах, требующих нашего внимания, пока еще не поздно. Поэтому легче всего, но и печальнее всего отреагировать на последний пункт анкеты. А есть ли еще какое-нибудь профессиональное академическое сообщество, которое могло бы похвастаться тем, что к его мнению у нас прислушиваются? Думаю, что ответ очевиден.

### Библиография

- Гаген-Торн Н.И.* Ленинградская этнографическая школа в 1920-е гг. // Советская этнография. 1971. № 2. С. 134–145.
- Осинов А.Г., Черепова О.И.* Нарушение прав вынужденных мигрантов и этническая дискриминация в Краснодарском крае. М.: Мемориал, 1996.
- Осинов А.Г.* Российский опыт этнической дискриминации: месхетинцы в Краснодарском крае. М.: Звенья, 1999.
- Foley D.E.* The Fox Project. A Reappraisal // Current Anthropology. 1999. Vol. 40. No. 2. P. 171–183.
- Studia Pontocausasica 2.* Армяне Северного Кавказа. Краснодар: Центр понтийско-кавказских исследований, 1995.
- Studia Pontocausasica 3.* Понтийские греки. Краснодар: Центр понтийско-кавказских исследований, 1997.
- Studia Pontocausasica 4.* Удины: источники и новые материалы. Краснодар: Центр понтийско-кавказских исследований, 1999.

### АЛЕКСАНДР МАРКОВ

Если говорить об исследованиях по истории культуры (филологических или исторических), которые у нас до сих пор почти полностью ориентированы на внутренний рынок идей, то проще всего ответить на каверзный вопрос об их «практическом значении». Эти слова не подразумевают в отечественных условиях ни интеллектуального обеспечения практик, ни даже оптимизации существующих форм производства знания, но исключительно консультативную функцию научного исследования: практическое значение признается за диссертацией, которую можно популяризовать, использовать в преподавании, черпать из нее поучитель-

**Александр Викторович Марков**  
Московский государственный  
университет  
им. М.В. Ломоносова  
markovius@yandex.ru



ные примеры и таким образом превращать в часть журналистского освещения «жизненного мира». И так, *практическое значение* заменяет в российских ситуациях «индекс цитирования», востребованность работы другими учеными и преподавателями: но не ради дальнейшей дифференциации и очищения научного знания, а ради сближения знания с миром мнения. Такая ситуация предопределена была, на наш взгляд, не какими-то общими популяризаторскими тенденциями советской науки (которые на проверку оказываются не такими уж сильными и ограничиваются в основном ежемесячным выпуском «Науки и жизни» с кроссвордами и шахматными задачами), а системой горизонтальной мобильности науки, когда создание новых исследовательских направлений не подразумевало переподготовку специалистов: на новые участки перемещались старые кадры, которые, как считалось, под руководством теории могут быстро освоить и новые практические приемы исследования и, значит, преумножить знание.

Такая организация науки, полностью отвечающая специфике «застойной» экономики, приводила к тому, что дифференциация знания должна была производиться в рамках самой теории, тогда как новые практические изобретения в гуманитарных науках помещались сразу же в плоскость текущих решений и зависели во многом от преходящих «настроений», от того самого «мнения», от общей конъюнктуры в стране.

При этом как раз о диктате теории в советское время, через который определяют обычно специфику идеологического контроля над научной деятельностью гуманитариев, в несоциальных гуманитарных науках говорить не приходится. «Отделы теории» в академических институтах числились первыми в штатном расписании и, как многие сейчас думают, разрабатывали нечто вроде методологических циркуляров для других исследователей; тем не менее сам принцип производства исторического или филологического исследования, принятый в позднесоветское время, полностью противоречил теоретической установке. Прежде всего, главенствовало требование референтного однообразия: текст исследования должен был не только реферировать уже созданное, но и сам поддаваться реферированию, создавая поле смыслов, которыми можно овладеть сразу и навсегда. Такое требование явно противоречит устройству любого интеллектуального дискурса, который требует более сложного типа чтения, чем тот, который искусственно вырабатывался многими годами гуманитарной гладкописи.

Описанный тип смыслопорождения привел к тому, что отношения теории и практики оказались перевернутыми: именно

ученые-практики стали проделывать основные теоретические процедуры, такие как самостоятельный выбор репрезентативного материала, тотальная концептуализация изучаемого культурного поля (представление об идейном единстве культурных эпох), введение неклассических понятий и т.д. Даже постоянное сужение области исследований каждым отдельным специалистом (скажем, филологическое изучение авторов третьего ряда, а не мировых классиков) служило не реконцептуализации культуры, а «теоретизации» самого исследования, которое превращалось из герменевтической процедуры в опыт чистой рецепции некоторого количества словно из тьмы возникших феноменов. Такой подход к практике как к источнику теоретических умозаключений проявился и в недавней апологетике академических институтов: главным в ней выступило понятие питательной среды, которая состоит из ученых невысокого полета, но без практики которых не возникнут и гении — роль «гениев», подразумевается, состоит в производстве умозаключений, чего не смеют сделать узкие специалисты, вперившиеся в свой материал.

Задача официальной теории литературы (теории искусства, теории знания или философской теории науки) в позднесоветское время свелась в основном к отбору из классических памятников научной мысли тех интеллектуальных опций, которые более всего подходят к решению текущих задач. Таким образом, теория создавала напряжение между изменчивой социальной действительностью, которая постоянно озадачивает гуманитария (в том числе и занимающегося древностью), и высотой созерцаний, скажем, М.М. Бахтина, из которых нужно было выбрать подходящие тезисы, авторитетно произведя операцию селекции: приняв одно и замолчав другое. У теории, осуществлявшей властные полномочия, не оставалось настоящего ресурса знания, и потому никакого роста теоретического знания, в отличие от роста практического знания, в гуманитарных науках 1970–1980-х гг. не наблюдалось — только рост чисто властного авторитета, позволяющего проводить эту хирургическую операцию на построениях «классицизированного» мыслителя.

В некотором смысле позднесоветский магический реализм в литературе (Вл. Орлов) портретирует тогдашнюю ситуацию: теория возникает как фантом мышления в условиях, когда производство гуманитарных текстов должно обеспечивать всем гуманитариям просто кратчайший путь от материала к выводу. Если мы обратимся к сегодняшней ситуации, то увидим, что «теоретический» и «практический» подходы реализуются просто. *Теоретическим* подходом называется пестрый фараон

«теорий», различного рода общих наблюдений и соображений, а *практическим* — набор практик, иначе говоря, методически продуманных техник обращения с материалом. Поэтому с точки зрения институционализации новых направлений, cultural studies в России однозначно попали в рубрику теории, так как подразумевают определенную настройку оптики и выбор только одного наиболее подходящего режима восприятия, тогда как, скажем, герменевтика рассматривается как способ обогащения практических техник для решения частных вопросов. Конечно, динамика институционализации новых направлений различна, и поэтому мы говорим скорее о тенденциях, чем о положении дел в каждой отдельной науке.

Если говорить о практической стороне (как создается в наши дни труд по литературоведению, искусствознанию или истории культуры), то можно заметить, что исчез прежний принцип усиления проблематизации, когда изучаются те же произведения литературы или живописи, с которыми знаком даже пишущий сочинения школьник, но при этом ставится более общая или более острая проблема, вокруг которой организуется дополнительный материал и устраняются противоречия между различными методологиями. Этот принцип, непосредственно происходивший из понимания метода как инструмента, причем такого, который может «противоречить» другому инструменту, был отброшен как сдерживающий развитие методов, но единого нового принципа исследования гуманитарного материала пока не выработалось, равно как и общего поля обсуждения явлений культуры прошлого.

Теперь вкратце по пунктам анкеты.

- 1 Вопрос о том, интересны ли специальные исследования кому-то кроме специалистов, вряд ли может получить однозначный ответ, пока эти исследования по инерции оцениваются не как образующие общее поле производства знания, а как притчи или поучения, в каждом из которых нужно уметь что-то «извлечь для себя».
- 2 На вопрос о поколенческих или личных предпочтениях теории или практики также трудно дать ответ, пока наука считается предметом престижного потребления, на которое дает право заработанный когда-то в прошлом символический капитал. Например, когда при оценке теоретической диссертации задают вопрос о том, почему автор не затронул тему, интересную самому спрашивающему.
- 3 Умение позиционировать себя для внешнего взгляда — один из пунктов, в котором действительно нынешняя российская гуманитарная наука имеет преимущество перед советской.

Наиболее авторитетной позицией гуманитария сейчас становится позиция эксперта, причем двойного: с одной стороны, он разбирается в своих вопросах, проводя компетентную экспертизу знания, с другой стороны, ориентируется в текущих направлениях науки, так как даже для простой публикации своих результатов ему нужно следовать в фарватере методологического развития. Иначе и быть не могло в той ситуации современной российской гуманитарной науки, когда высшие эксперты (советники грантовых фондов) являются одновременно и заказчиками коллективных работ. При такой ситуации затруднена, например, лексикографическая, текстологическая или каталогизаторская работа, результаты которой могут ожидаться годами или даже десятилетиями, а до этого она «нерентабельна» с точки зрения как символического, так и реального капитала.

4

Существующий сейчас критерий выделения грантов прямо следует из указанного в предыдущем ответе: поддержкой пользуются проекты, обладающие достаточным ресурсом репрезентаций, и при этом при каждой очередной репрезентации в меняющейся все время научной конъюнктуре доказывающие свою эффективность. Поэтому бесспорное преимущество будут иметь междисциплинарные исследования, неустанно привлекающие новые источники порождения знания. Пока внутренние ограничения междисциплинарных исследований еще не дали о себе знать (хотя уже в скором времени все может перемениться), такая ситуация может считаться оптимальной для несоциальных гуманитарных наук.

5

Нехватка прикладных антропологических исследований в России связана, думается, с тем, что отечественная антропология не была отнесена к «классической» гуманитарной науке, не рассматривалась как реконструкция правильного образа прошлого и держалась в советское время в основном как продолжение восходящих еще к XIX в. отдельных этнографических проектов.

## НАТАЛЬЯ НОВИКОВА

## Политик с одной речки

1

Я бы разделила понятия «интересно» и «полезно». Наша наука по определению интересна, во всяком случае, в ней можно найти много увлекательных сюжетов. Полезность же наших знаний нуждается в постоянном подтверждении. Мне приходится раз в неделю в течение семестра объяснять, зачем нужна антропология и что она дает для политики, деятельности органов государственной власти, промышленных компаний, органов здравоохранения, образования, СМИ, туристических агентств, ресторанов, клубов и т.п. Прикладная антропология как учебная дисциплина показывает, как и какие исследования могут проводиться для выработки механизмов изменения этнокультурных и этносоциальных процессов в современном обществе, в первую очередь для снижения негативных последствий развития.

Я преподаю этот предмет студентам IV курса в Центре социальной антропологии РГГУ. В конце семестра они готовят работу, в которой должны указать заказчика, цели своей работы, методы исследования и выводы и рекомендации, которые они могут сделать для потенциального заказчика. Опыт показывает, что студентов интересует эта тематика, в целом они успешно пишут и защищают свои «заказные» проекты. Я думаю, что такой курс очень важен для профессионального становления антропологов.

Если говорить о поколенческих предпочтениях, то у современных молодых антропологов есть тяга и вкус к практической работе, им это действительно интересно. Это объясняется тем, что сегодня можно действительно кое-что сделать, хотя я пытаюсь честно им показывать всю сложность и неоднозначность нашей работы. Рынок этноконсалтинговых услуг в нашей стране недостаточно развит, многие предложенные ими проекты не находят спроса.

**Наталья Ивановна Новикова**

Институт этнологии  
и антропологии РАН /  
ООО «Этноконсалтинг»,  
Москва  
novn@orc.ru

Значение антропологии часто приходится объяснять и в поле, ведь информанты хотят общаться и хорошо работают с нами, когда они заинтересованы в проводимом полевом исследовании, понимают, зачем оно проводится, к чему может привести. Они не станут учеными исследователями, но мы можем их заразить своим интересом. Иногда они сами начинают записывать какие-то истории, сведения от более знающих родственников или соседей. Можно ли это считать прикладной антропологией? Формально нет, но расширение круга людей, которые интересуются нашей наукой, также может привести к изменению общественного климата в стране, развитию толерантности. А следовательно, соответствует целям антропологии действия.

Наконец, мне как исполнительному директору «Этноконсалтинга» приходится разговаривать с разными людьми (чиновниками, работниками промышленных компаний, консалтинговых фирм) и объяснять им, почему без антропологических знаний и умелого их применения их действия будут неэффективными или они будут нести потери в бизнесе. Значимость и полезность антропологической работы не очевидна, мы же не врачи или учителя, значит, нужно объяснять. Но чтобы прикладные исследования были успешными, они должны строиться на фундаментальной академической работе, потому что где ничего не положено, там ничего не возьмешь.

2

Разделение антропологии на теоретическую и прикладную существует, но, как это часто бывает с классификациями, границы между этими вариантами исследований достаточно гибкие. Новое теоретическое знание может быть использовано на практике так же, как и специально выполненное прикладное исследование (хотя, на мой взгляд, у прикладного исследования должен быть заказчик). Прикладная антропология служит обеспечению лучшего понимания потребностей людей и проведению в жизнь административных решений в соответствии с культурными потребностями человека. В современных условиях антропологические знания востребованы обществом в различных сферах политики, практики и повседневности. В тех сферах, в которых я работаю — юридическая антропология, антропология народов Севера — наши знания и умения являются необходимыми и всегда использовались политиками. Кроме того, существует не единственное, но достаточно представительное правозащитное направление, и наша работа может быть успешной именно благодаря знаниям, полученным в ходе активных полевых исследований. Антрополог становится действующим политиком, но политиком «с одной речки», для которого первостепенное значение реформ, проектов определяется тем, стали ли люди на

«его речке» счастливее. Прикладные исследования как раз и направлены на улучшение жизни людей, потому что существует определенный зазор между полезными с социальной точки зрения новыми техническими знаниями и их использованием населением [Клакхон 1998: 210–215]. А для того чтобы создать благоприятный климат для инноваций или защитить от них группы, образ жизни которых будет подвергнут серьезной деформации, необходимы наши знания.

Особый интерес сегодня представляет обсуждение вопросов, вызываемых этнологической экспертизой как важнейшей составляющей прикладной антропологии. Этнологическая экспертиза рассматривается как научное исследование влияния деятельности и административных решений на развитие этнических групп. При ее проведении учитываются и традиционные знания исследуемых групп, в первую очередь в сфере экологии и природопользования, и обычное право, и существующие юридические практики. Основой такого подхода является изучение изменений образа жизни, причем антропологические методы позволяют исследовать и социально-экономические, и политические, и культурные, и демографические аспекты. Изучаемые этнические общности рассматриваются как стратифицированные общества с различными хозяйственными и культурными практиками, в которых антрополог подчеркивает равное значение символических и утилитарных составляющих человеческих отношений.

Прикладные исследования могут быть организованы разными способами. Это может быть специальное полевое исследование по четко составленной программе, в результате которого появляются новые антропологические знания, стандартизированные и сравнимые. На их основе могут быть предприняты какие-то практические действия. Примером таких работ является этнологическая экспертиза, например влияния промышленного проекта (нефтепровода, дороги, промышленных рубок леса и т.п.) на традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера. Для выполнения такой экспертизы должно быть проведено специальное исследование, которое покажет современное состояние сообщества (социально-демографическая характеристика, система жизнеобеспечения, занятость, здравоохранение, образование, традиционная культура, язык и т.п.) и позволит дать прогноз развития ситуации при выполнении проекта. Так как нет специального закона об этнологической экспертизе и возможности на ее основе прекратить какую-то деятельность, то эксперты могут предложить меры по минимизации отрицательных последствий или альтернативные варианты развития.

Другим вариантом прикладных исследований может быть экспертное заключение, например, на какой-то текст — программу, законопроект или публикацию в СМИ. Или специалисты по этнографии определенных народов могут подготовить концепцию музейной экспозиции или выставки, которая готовится в «непрофильном» музее. В этом случае мы не проводим новые исследования, а используем имеющиеся у нас знания для выполнения работы. И наконец, политики или различные организации могут воспользоваться уже опубликованными книгами и с их помощью обосновать свои планы. В последнем случае у антрополога почти нет возможностей воздействовать на процесс принятия решений.

Таким образом, существует связь фундаментальных и прикладных исследований, и это повышает меру ответственности всех работающих в нашей сфере знаний, так как на основании текстов антропологов могут приниматься решения. В среде североведов, во всяком случае в Москве (хотя, возможно, шире), никогда не было резкой грани между прикладной и теоретической антропологией. Основы этого единства были заложены в первые десятилетия XX в. Типичное определение принадлежит В. Богоразу, который в статье 1922 г. предлагал, чтобы органы государственного управления включали в себя «ученых и исследователей, специалистов этнографов и лингвистов, которые одни компетентны судить об особенностях быта и духа инородцев и притом по самому роду своих занятий привыкли подходить к туземцам вдумчиво и с любовью» [Богораз 1922].

Этот гуманистический посыл сегодня может приобрести патерналистский оттенок. Одним из серьезных недостатков экспертизы становится взгляд на сообщество современных аборигенов как на музейную экспозицию — людей в этнической одежде, говорящих на языке своих предков. Нам при проведении прикладных исследований приходилось объяснять заказчикам, что аборигены в современном мире выделяются благодаря своему природопользованию и знаниям о природном и социальном мире, а вовсе не потому, что живут в чумах или кочуют по тайге и тундре.

Прикладные исследования требуют постоянного совершенствования, поиска и интерпретации новых этнографических фактов. Кроме того, нам ведь при проведении прикладных исследований нужно как минимум не навредить изучаемому сообществу, помочь представить их взгляд на ситуацию. Это создает этические проблемы. С одной стороны, эксперты должны быть объективны и независимы, а с другой — выразить наиболее важные для сообщества задачи, подчас непонятные



при непосредственном контакте с органами власти или промышленными компаниями.

Так, я наблюдала процесс Общественных слушаний по проекту строительства газопровода в долине реки Макензи в Канаде. При обсуждении вопроса о качестве питьевой воды основное внимание участников слушаний было сосредоточено на очистных сооружениях. А Дж. Клинек, адвокат, работающая с одной из общин Де чо (Deh Cho), спросила: «Что будет с аборигенами, которые берут воду из открытых источников, т.е. пользуются неочищенной водой?» Если бы не она, этот вопрос вообще бы не возник.

В Канаде в качестве таких экспертов могут выступать и антропологи, и адвокаты, так как в этой стране в гораздо большей степени, чем у нас, развита юридическая антропология. Роль эксперта в данном случае заключалась в привлечении внимания министерств и промышленных компаний к специфическим вопросам, к особенностям положения аборигенных народов, если они занимаются традиционным природопользованием и живут «в буше».

У нас в стране не только в аналогичных ситуациях, но и в суде сказать о подобных особенностях могут только антропологи, давно работающие с участниками процесса и пользующиеся их доверием. Так, во время одного судебного процесса его участники не сказали о том, что во время совершения правонарушения с ними был маленький ребенок (до года, не имеющий зубов). Такой ребенок занимает пограничное положение между миром духов и людей, принадлежит и тому, и другому. Эти сведения могли бы способствовать иному решению суда, но, по представлениям ненцев и хантов, нельзя говорить чужим и при чужих о таком ребенке, чтобы не причинить ему вреда. К сожалению, в этот момент там не было антрополога, который мог бы выступить экспертом-посредником в суде.

Такая роль антрополога-посредника отмечается и нашими зарубежными коллегами, имеющими опыт работы в промышленных компаниях и по их заказу. В этом случае «антропологи должны выступать в роли переводчиков и посредников при интерпретации культур, будучи переводчиками не только языков и их диалектов, но и различных ценностей, мировоззрений и нужд (т.е. западных и коренных, поселковых и корпоративных). Опыт показал, что сложные вопросы успешно решаются там, где отзывчивые и энергичные представители компании, особо связанные с группой коренных народов, выполняют роль посредников между данной общиной и приезжими разра-

ботчиками. Важно, чтобы в общинах знали таких людей и доверяли им. Долгосрочное этнологическое исследование, проведенное в конкретном сообществе или общине, важно не только для развития антропологической научной теории, но и для государственной политики и корпоративной стратегии» [Уилсон, Свидерска 2008: 27].

Отдельной проблемой является взаимодействие антропологов и заказчиков. Сегодня до принятия специального закона об этнологической экспертизе план ее проведения составляется учеными и согласовывается с заказчиком; особенностью итоговых текстов, пожалуй, является лишь обязательный раздел с выводами и рекомендациями, предложениями альтернативных вариантов. Можно сказать, что теоретические и прикладные исследования — это разные жанры, тексты, по-разному написанные, и должен быть кто-то, кто захочет и сможет воплотить их в жизнь. Если говорят, что информант превращает туриста в этнографа, то антрополога-эксперта делает таковым заказчик.

**3**

Для меня не представляет труда писать о практической значимости своих работ, тем более что в последние годы я часто обосновываю это в заявках, подаваемых от «Этноконсалтинга» — организации, специально созданной сотрудниками нашего института для проведения прикладных исследований. Мне приходится выступать экспертом по различным вопросам, касающимся коренных малочисленных народов Севера. Эта роль мне нравится, но я понимаю, что нужно «поддерживать себя в форме», т.е. проводить полевые исследования, знакомиться с судебной практикой и по возможности наблюдать ее, участвовать в работе по написанию новых законопроектов или иных нормативных актов. Все это позволяет мне говорить, что я занимаюсь юридической антропологией.

Сейчас, вероятно, многие на Севере об этом знают и специально работают со мной, понимая, что я могу сыграть какую-то роль в их судьбе. Среди аборигенов много мудрых людей, над их высказываниями я думаю годами. Так, когда я участвовала в работе над законом об общинах коренных малочисленных народов Севера и ездила в Ханты-Мансийский округ обсуждать свои мысли и предположения, один оленевод мне сказал: «Ты напишешь свой закон, и они съедят моих оленей». Он имел в виду, что живущие в поселке аборигены создадут «общину-колхоз». Он много со мной работал, ни на чем не настаивал, просто рассказывал. Он уже давно ушел из жизни, но я помню его слова, они помогают мне быть осторожной в своих выводах.

4

Грантовое финансирование, наверное, всегда носит оттенок пристрастий экспертов фондов. Конкурсный принцип отбора заявок имеет свои плюсы и минусы. Мне больше нравится такой стиль работы, когда можно обсудить с заказчиком содержание и объем предполагаемого исследования, условия финансирования, выработать оптимальную модель. По такой схеме мы сотрудничали с фондом Сороса, Макартуров, сейчас так возможно работать в некоторых случаях с промышленными компаниями. Из последних наших работ могу упомянуть выполнение экспертизы договора аренды общиной удэгейцев участка леса в Приморском крае. Инициатором работы выступала сама община, финансировались она Всемирным фондом дикой природы. Община активно участвовала в выполнении экспертизы, и результатом исследования стала книга. В предисловии, которое написал после окончания работы председатель общины, сказано: «Исследование, которое проводилось учеными в поселениях Красный Яр и Олон, показало, в первую очередь нам самим, что живы наш образ жизни и наша культура. Ничто не утрачено, и аренда лесного участка для собирательства, безусловно, поможет не только сохранению традиционного образа жизни, но и социально-экономическому развитию местного населения» [Звиденная, Новикова 2010: 6].

Этнологическая экспертиза в данном случае проводилась в тесном сотрудничестве с удэгейцами, они были заинтересованы в ней и в том, чтобы их ценные знания о лесе и его обитателях были учтены в планах лесоустройства Уссурийской тайги. Наша задача заключалась в том, чтобы представить максимально полную картину жизни местного сообщества, продемонстрировать их зависимость от природных ресурсов и показать, что их природопользование не приведет к разрушительным последствиям. Опыт деятельности общины показал нам, что именно эти люди в современных условиях занимаются защитой леса от незаконных вырубок, браконьеров и пожаров и их деятельность не нанесет ущерба природным ресурсам. Такое прикладное исследование было интересно проводить, и мы постараемся наблюдать ситуацию с общиной в дальнейшем. Кроме того, результаты экспертизы будут использованы при написании кандидатской диссертации одного из авторов. Вообще, прикладные исследования могут рассматриваться как дополнительный (в том числе и финансовый) источник фундаментальных академических работ.

5

Вопрос сформулирован для прикладных исследований в целом. В сферах моего научного знания ситуация несколько иная. С начала 1990-х гг. антропологи участвуют в законодательской

деятельности как на федеральном, так и на региональном уровне. Работа над законопроектами очень интересна и азартна. Она требует умения «все накопленное непомерным трудом» сформулировать, ужать до нескольких статей закона. При этом важно не навредить. Связь между тем или иным законом и реальной жизнью людей не всегда очевидна. Приходится разъяснять информантам, что хочешь от них получить, какие знания нужны для возможности их применить в действительности. Антропология права обязательно диалогична, предполагает сотрудничество и взаимный интерес ученых и информантов. Сложность создает и то, что экспертиза предполагает исследование здесь и сейчас, оно ограничено во времени и пространстве, а выводы ее могут иметь эффект кругов на воде от брошенного камня.

Другим направлением нашей работы является использование антропологических знаний в судебной защите. Современное законодательство допускает учет обычаев и традиций малочисленных народов в нескольких сферах, в первую очередь в суде. Эта статья в законе появилась в 1999 г., но мы и сегодня не можем договориться о том, как и какие обычаи учитывать. Занимаясь этой проблемой, я чувствую недостаток наших знаний в этом вопросе, и пока мы ничего лучше экспертизы не можем предложить.

Таким образом, можно сказать, что уже сформулированы некоторые острые актуальные проблемы прикладных исследований в антропологии права, но для их решения нужны более широкие научные дискуссии, в том числе и теоретические (например, определение принципов обычного права и т.п.). Прикладные исследования требуют расширения поля, изучения как управляемых, так и управляющих. Это междисциплинарные исследования, требующие сбора новых материалов и овладения новыми методами, и уже потому они интересны.

В последние годы я участвовала в конференциях по изучению аборигенов в Канаде и проводила там исследования. Опыт этой страны всегда оказывается для нас интересным и полезным. Можно изучать и их опыт по строительству газопровода в долине Макензи, проект, который обсуждался и даже отменялся благодаря прикладным исследованиям. История этого проекта могла бы стать настольной книгой генеральных директоров промышленных компаний, если бы в нашей стране были действительно гарантированы конституционные права на благоприятную окружающую среду и права коренных малочисленных народов. Или другой пример: издание под эгидой Министерства юстиции на английском и французском языках иллюстрированной книги, посвященной традиционным цен-

ностям коренных народов [Native Spirituality Guide 1993]. Мои наблюдения над деятельностью судов в России показывают, что судьям подчас просто не хватает знаний, а признаться в этом им не позволяет статус или политическая целесообразность принятия тех или иных решений.

Многие университетские ученые в Канаде работают над проектами, которые непосредственно учитываются в государственной политике, например исследования качества жизни коренных народов. Они проводятся с определенной периодичностью и служат основой для политики в отношении этих народов. Когда я была последний раз в Канаде этой весной, один из таких экспертов спросил меня: «Если вы не проводите таких работ, как вы можете судить о положении коренных народов в вашей стране?» Я ответила, что мы проводим полевые исследования и на их основе пишем научные работы, которые потом могут учитываться политиками.

Очевидно, что этого явно недостаточно. А на самом деле положение еще хуже. Наше правительство через министерства заказывает прикладные исследования, оплачивает их (оставим в стороне, насколько адекватно интеллектуальным затратам), а потом просто о них забывает. Ведь прикладные исследования должны быть кому-то нужны. В нашей стране мы далеко не всегда чувствуем свою нужность, может быть, потому это направление нашей дисциплины недостаточно развито. В Канаде раз в три года проходят конференции по аборигенным исследованиям, в них участвуют и сами аборигены, и ученые, и политики, и профессора, как работающие в органах государственной власти, так и независимые, университетские. Таким образом, создается возможность внутренней научной экспертизы, которая приводит к хорошим результатам.

### Библиография

- Богораз В.Г.* О первобытных племенах // Жизнь национальностей. 1922. № 1.
- Звиденная О.О., Новикова Н.И.* Удэгейцы: охотники и собиратели реки Бикин (Этнологическая экспертиза 2010 г.) М.: Стратегия, 2010.
- Клакхон К.* Зеркало для человека. СПб.: Евразия, 1998.
- Уилсон Э., Свидерска К.* Горнодобывающая промышленность и коренные народы в России: регулирование, участие и роль антропологов // Этнографическое обозрение. 2008. № 3. С. 17–28.
- Native Spirituality Guide. Royal Canadian Mounted Police; Department of Justice Canada; Minister of Supply and Services Canada, 1993.

## ТАТЬЯНА ПРОТАСЕНКО

1

Я не случайно указала область моих занятий, поскольку она не только позволяет, но и предполагает соединение как теоретического, так и прикладного уровней социологической науки. Считаю, что мне необыкновенно повезло, поскольку я более склонна к прикладным исследованиям, а область теоретических исследований в пору написания мною дипломной работы и кандидатской диссертации была очень удачно определена моими научными наставниками — А.В. Барановым и О.И. Шкаратаном.

Судите сами. Тема дипломной работы звучала так: «Социологические проблемы планировки городов», а тема кандидатской диссертации: «Социальные факторы дифференциации потребления в городе». Теоретические изыскания в этих областях и эмпирические исследования позволили мне наработать значительный багаж, который с конца 1980-х гг. оказался чрезвычайно востребован представителями различных структур — властных, журналистских, бизнеса. Он востребован и в настоящее время, когда идет широкомасштабная реконструкция городов и требуется социальное сопровождение проектов реконструкции городской среды с опорой на общественное мнение. Наше мнение оказалось необходимо, чтобы понять течение глобального экономического кризиса, тем более что очень многие ученые согласны с тем, что этот кризис фактически является кризисом потребительского общества.

С середины 1990-х я регулярно проводила исследования, посвященные изучению поведения избирателей во время и между избирательными кампаниями, их политических пристрастий и т.п. Кроме того, совместно с коллегами мы неоднократно проводили исследования, посвященные изучению принципов формирования новых элит, в том числе по результатам этих исследова-

**Татьяна Захаровна Протасенко**  
Социологический институт РАН,  
Санкт-Петербург /  
эксперт-социолог  
Администрации  
Санкт-Петербурга  
и Законодательного собрания  
tzprot@mail.ru

ний нами неоднократно формировался список влиятельных лиц в разных сферах жизни общества и города.

Я не случайно так подробно остановилась на тематике моих исследований, поскольку именно тематика, с моей точки зрения, является определяющей в плане твоей востребованности для неспециалистов.

Как правило, неспециалисты ко мне обращаются за консультацией тогда, когда надо понять реакцию населения (как в целом, так и определенных групп), а также общественных институтов на проблемные ситуации в обществе в целом, на уровне той или иной территориальной общности и т.п.

Каков алгоритм привлечения специалистов в той или иной области науки, в частности социологии для решения прикладных задач? Формулируется грубая гипотеза или главный вопрос, на который надо ответить. Определяется область недостающих знаний. Ищутся специалисты, которые этими знаниями обладают. Ко мне очень часто обращаются с вопросом: если мы будем делать так-то и так-то, как отреагируют люди, представители тех или других слоев населения, каковы могут быть отрицательные или положительные следствия. И я стараюсь ответить на эти вопросы, используя либо имеющиеся данные, либо проводя специальные исследования.

Мне неоднократно приходилось выступать на заседаниях самого разного уровня, включая заседания правительства Петербурга, в телепередачах, где я объясняла многие моменты, связанные с особенностями менталитета и поведения нашего населения. Не скрою, что это нелегко, поскольку нужно многие вещи, понятия, результаты адаптировать к уровню понимания слушателей, порой очень упрощая и огрубляя выводы. Именно «разжевывание» порой помогает понять то, что ранее было не совсем понятным. Обратной стороной такой «адаптации» является снижение уровня «научности» твоих публикаций в специализированных журналах и возможные обвинения в небрежности обращения с терминами.

Поскольку данные социологических исследований (прежде всего, конечно, опросов общественного мнения) регулярно появляются в СМИ, отмечу реакцию населения. Она любопытна. С одной стороны, происходит адаптация и появляется привычка к участию в опросах и к тому, что данные этих исследований появляются в печати и на них ссылаются. А с другой стороны, по-прежнему есть два типа реакций. Если публикуемые результаты, с точки зрения читателя, не совпадают с тем, что характеризует жизнь этого человека, то он заявляет, что это вранье. Если же все так, как и у него, как у его друзей и т.д., то

выносится вердикт: зачем было проводить исследования и тратить деньги.

Я неоднократно слышала от разных людей ссылки на данные соцопросов. Все-таки социология в настоящее время стала частью нашей жизни, и это прогресс. В любом случае главную задачу социологов, особенно в публичной сфере, я вижу в том, чтобы доказать человеку, что кроме его собеседников, его окружения существуют еще и *другие*. И об этом надо знать и это надо принимать, поскольку это, если хотите, одна из составляющих формирования толерантности. Не вопрос даже — сколько их, этих других. Вопрос и главная тема — что они есть. Повторяю, в доказательстве этого тезиса я вижу, не побоюсь сказать, миссию социолога.

Из всего вышесказанного ясно, социологи ныне востребованы. И даже слишком востребованы. И это меня очень беспокоит. Потому что эта востребованность чрезвычайно утилитарна, и в результате на социологов возлагается слишком большая ответственность в связи с принятием разного рода решений.

**2**

А сейчас я фактически отвечаю на вопрос 5. Он о том, почему неразвита прикладная антропология в России. Попробую ответить на вопрос с учетом того, что я все же социолог. Дело в том, что из всех четырех дисциплинарных антропологических полей (физическая антропология, лингвистическая антропология, археология и культурная антропология — читай этнология), которые популярны в США, у нас неспециалистами может быть востребована пока только этнология. И вообще, на мой взгляд, в определении области антропологических исследований у нас много разночтений с подобными исследованиями в США. Поэтому я не буду больше ничего говорить на эту тему, чтобы вы меня не обвинили в дилетантизме и небрежности. Перейду к знакомой мне сфере — социологии.

В наших учреждениях социологи присутствуют, порой с их мнением считаются. Социологи есть на всех уровнях власти, в бизнес-структурах. Они входят в разного рода экспертные советы и аналитические центры, которые имеются во множестве, в том числе и в кремлевской администрации. Дело в другом. Социологов, их знания используют слишком ситуативно и прагматически (эта закономерная обеспокоенность присутствует в вашем вопросе 2). Это как раз вполне объяснимо. Власти и бизнесу, чтобы быть эффективными, чтобы находить поддержку у населения, надо быть этому населению понятными. А понимание находят ситуативные решения. Решения, рассчитанные на быстрое исполнение, а не на перспективу. Власть всегда хочет либо разделить с кем-то ответственность,



либо максимально с себя ее снять. Поэтому социологи и данные их исследований в последнее время заменили чуть ли не решения партийных съездов.

Помните, раньше, лет 25–30 назад все статьи и различного рода заявления начинались словами: «Как было сказано (или показано) на таком-то съезде партии...». Теперь подобные заявления и публикации начинаются словами: «Как было выяснено социологами...». Подобная тенденция ведет даже к «социологическим войнам», тем более что форма предъявления результатов социологических исследований, опросов общественного мнения у нас очень субъективна и стандарты публикаций не выдерживаются. Порой непонятно, откуда данные, кто и когда проводил социологическое исследование или опрос общественного мнения, какова выборка, на базе которой строился опрос и делались выводы.

Именно ситуативность и предельная прагматичность по отношению к использованию данных социологических исследований неспециалистами меня сегодня больше всего и беспокоит. Я убеждена, что те, кто пользуются нашими данными, принимая различного рода решения, прежде всего должны отдавать себе отчет, какие последствия могут иметь их решения, независимо от того, будут ли они следовать только мнению большинства или учитывать и мнение меньшинства.

И это все. Перекаладывать ответственность за принятые решения на социологов недопустимо. И неважно, кто действует от имени социологов — нынешняя власть или оппозиция. О моральных «терзаниях» социологов-практиков см. мою статью «Социология и власть. Новые реалии» в сборнике «Социология вчера, сегодня, завтра. Вторые социологические чтения памяти В.Б. Голофаства» (Санкт-Петербург, 2008 г.).

Кстати, я себя чаще всего и позиционирую как социолога-эксперта.

**3**

В отношении же того, как соотносятся теоретические и прикладные исследования в социологии, проблема состоит в том, что социологи-теоретики «теоретизируют», зачастую не проводя никаких эмпирических исследований, не привлекая даже данные открытой статистики, используя только то, что присутствует в публикациях. Социологи-прикладники, наоборот, обладая огромными массивами эмпирической информации, огромными «полями» мониторинговых исследований, ограничиваются отчетами о ситуации в той или иной сфере жизнедеятельности населения на тот или иной период времени, в лучшем случае приводя динамические ряды и краткие выводы, акцентируя внимание на практическом выходе, поскольку

им надо ответить на конкретные вопросы заказчиков. Социологи-прикладники находятся в постоянном опросном конвейере, руки до теоретических обобщений не доходят. Огромные массивы информации лежат без движения, поскольку в условиях договоров на проведение социологических исследований или опросов общественного мнения, как правило, имеется запрет на широкое распространение информации.

Таким образом, теория существует порой без практики, а практика не поднимается до теории. Причина такого положения, на мой взгляд, не в последнюю очередь в том, что в академическом сообществе очень мало денег на прикладные исследования. Чтобы провести серьезное эмпирическое исследование по теме с использованием разнообразных методов, денег надо немало. А зачастую деньги можно найти только у структур, имеющих к науке очень отдаленное отношение. Но у подобных заказчиков и свои требования. Социологам, ушедшим в сферу заказных прикладных исследований, вернуться в академическую науку очень трудно. Да и разговаривают теоретики и прикладники на разных языках. И требования к результатам исследований разные...

Поэтому наше сообщество фактически разделено, и существует некий антагонизм теоретиков и прикладников, в котором обе эти группы друг друга порой недолюбливают. Чтобы прийти к взаимопониманию и хотя бы к диалогу, требуется большая работа профессионального социологического сообщества в целом.

**4**

В отношении грантов по социологическим исследованиям у меня очень большой скепсис. Главный принцип: кто платит, тот музыку и заказывает. Проблем с получением грантов очень много: и сугубо прикладных, и в сфере академической науки, и зарубежных, и российских. Везде свои нормы. Свои предпочтения. И вовсе не то, что требуется для продвижения науки, развития общества и т.п. Мой опыт показывает, что основное условие для получения гранта — правильное его оформление и с точки зрения содержания, и с точки зрения формы. Главное — заявка должна «потрафить» вкусу заказчика, быть написана в стиле его видения проблемы. И неважно, увы, каковы будут итоговые результаты. В этом парадокс работы по грантам. Важна заявка, а не итоговое содержание. Ну, и еще имя. В разных областях — свои авторитеты.

## ДАВИД РАСКИН

1

Поскольку я занимаюсь историей, то, в общем, объект моих исследований достаточно интересен широкой публике. Но приходится объяснять, что это наука (а не просто фактография, не просто описание прошлого в более или менее литературном виде), что в силу этого обстоятельства антинаучно автоматически проецировать историческое знание на проблемы сегодняшнего дня, что, далее, будучи наукой, история не «предсказывает» и даже, вопреки известной латинской поговорке, не «учит жизни». Пожалуй, чаще приходилось сталкиваться не столько с отсутствием интереса к моей науке, сколько с тем, что я бы назвал неквалифицированной направленностью этого интереса.

Сейчас — как и в любую переломную эпоху — очень часто люди стремятся использовать историю в качестве универсального средства самоидентификации, а поскольку знают ее недостаточно и поскольку любая история в качестве такого средства не универсальна, охотно прибегают к мифам. Именно исторические мифы составляют значительную часть современного искаженного массового сознания. Вот разоблачение этих мифов и, говоря шире, разоблачение неквалифицированного, игнорирующего специфику как гуманитарного знания вообще, так и отдельных его областей, подхода к знаниям о прошлом — актуальная задача. Эта задача не вытекает непосредственно из конкретных исследовательских задач обычной академической деятельности, но заставляет искать выхода за рамками этой деятельности. Говоря традиционным языком российской интеллигенции, заниматься просвещением народа.

**Давид Иосифович Раскин**

Санкт-Петербургский  
государственный  
университет / Российский  
государственный  
исторический архив,  
Санкт-Петербург  
d.raskin@mail.ru

2

Опять-таки для исторической науки эти векторы выглядят несколько иначе. Есть изучение истории в рамках той или иной научной парадигмы, и есть «популярная

история», на которую всегда был спрос, а теперь, пожалуй, этот спрос еще и заметно возрос. Для меня — чем дальше, тем больше — становится важным откликаться в своих исследовательских текстах на актуальные вопросы времени, затрагивать то, что важно для окружающей жизни. Конечно, писать так, как это делали в свое время Е.В. Тарле или Н.Я. Эйдельман, трудно и не для каждого обязательно, но я весьма ценю эту способность в своих коллегах и хотел бы обнаружить ее и в себе. Что касается более молодого поколения историков, то по крайней мере часть этого поколения чрезмерно, с моей точки зрения, увлекается процессом переформулирования общеизвестных выводов и не менее общеизвестных фактов в модных категориях современной философии, переводом и проблематики, и результатов исследований на язык западной историографии, явно грешащий известным герметизмом. В тех случаях когда такие увлечения не опираются ни на новые источники, ни на действительно новые методы работы с этими источниками, это не приводит к убедительным результатам (хотя и способствует получению грантов, прохождению публикаций и т.д.). Если старшее (а в какой-то мере и среднее, к которому пока еще отношу себя) поколение российских историков нередко грешило равнодушием к достижениям современной философии, социальных наук (включая антропологию), вообще определенным эклектизмом, сочетавшимся странным образом с сугубым академизмом формы изложения, то более молодое демонстрирует другую крайность.

3

Поскольку «практическая значимость» — неизбежная формулировка и в грантовых заявках, и при защите диссертаций, приходится как-то отвечать на этот вопрос. Я чаще всего указываю на возможность использовать полученные результаты в качестве справочного пособия, при разработке учебных курсов и т.д. Вообще же подобный вопрос в гуманитарных науках нередко оказывается не всегда слишком осмысленным. Для историка чаще всего все-таки наиболее простой образ для «внешнего» употребления — образ знатока, человека, ориентирующегося, например, в архивах, знающего реалии прошлого, умеющего, в конце концов, просто прочитать, а иногда и перевести старинный текст. В этом смысле такая роль граничит с ролью эксперта. Более того, независимо от степени признания собственно научного содержания работы того или иного историка он может быть использован именно в качестве знатока старины и в этом смысле терпим. Как бывали терпимы некоторые российские историки дореволюционной школы в советское время.

4

На этот вопрос было бы легче ответить, если бы критерии выделения грантов были бы сколько-нибудь внятно сформулированы для потенциальных заявителей. Между тем и в российских, и в известных мне (здесь я могу ошибиться, т.к. мои знания ограничены) зарубежных фондах эти критерии формулируются слишком расплывчато, слишком в общем виде. В идеале научное сообщество может и должно влиять на эти критерии. Но здесь (говорю о нынешней России) возможности такого влияния зачастую ограничены не столько даже бюрократической замкнутостью государственных структур, сколько недостаточной организованностью самого научного сообщества. Опыт Санкт-Петербургского союза ученых, успешно сотрудничавшего с РФФИ, например, показывает, что это влияние возможно. Если бы российское научное сообщество было более организовано, можно было бы говорить не только о желательности, но и о возможности существенного влияния ученых на определение приоритетов грантовой политики. Но здесь должно быть влияние именно самоорганизующегося (по горизонтальному, сетевому принципу) научного сообщества, а не иерархических институтов, в рамках которых всегда будут преобладать интересы верхушки академической иерархии. Впрочем, насколько мне известно, проблема различия подходов между, условно говоря, чиновниками или менеджерами, выделяющими средства, и учеными, претендующими на предоставление этих средств для своих исследований, существует во всем мире.

Другая проблема при выделении грантов конкретным исследователям и исследовательским коллективам — это не столько нечеткие критерии, сколько слишком большая роль личного фактора. Слишком часто именно этот фактор оказывается решающим.

5

На это вопрос мне трудно ответить, т.к. я все-таки не антрополог. Но на первый взгляд, здесь речь должна идти об общей недооценке научного знания государственными структурами, еще больше — бизнес-сообществом и соответственно подчиненными ему организациями. Вспомним, что еще сравнительно недавно (по историческим меркам) приходилось доказывать необходимость социологических исследований при принятии государственных решений, необходимость штатных психологов в школе, армии и т.д. Прикладная антропология (как, например, и конкретные социологические исследования) — это один из инструментов обратной связи, недостаток которой далеко не всегда ощущается замкнутыми иерархическими системами. Какое общество, такая и прикладная антропология...

## ПАВЕЛ РОМАНОВ, ЕЛЕНА ЯРСКАЯ-СМИРНОВА

1

Нам кажется, что в ворохе того, что мы ежедневно делаем в качестве профессионалов, можно найти и то, что интересно не-специалистам, и то, что для посторонних звучит как тарабарское наречие. Приемы исследования, теоретические концепции, пожалуй, меньше всего воспринимаются вне круга профессии как понятное и нужное знание, это своего рода кухня. А вот содержательные моменты нередко встречают пристальное внимание и даже вызывают горячую реакцию в поддержку или в противовес нашей позиции. К сожалению, не все, что для нас кажется столь важным и полезным, воспринимается точно так же людьми из иных профессиональных сфер. И хотя мы привыкли к ситуациям, когда надо говорить на языке, понятном разного рода аудиториям: юным учащимся и их родителям, специалистам социальных служб, реабилитологам, педагогам, чиновникам, — все же иногда приходится пояснять «практический смысл» и собратям-социологам.

Недавно на конференции по методам социологических исследований на секции по качественной методологии нас едва ли не врасплох застал вопрос коллеги с факультета психологии МГУ: «А зачем все это вообще нужно?» А иногда реакция бывает весьма враждебной. Например, после презентации в одном из фондов в кулуарах к нам подошла дама и сказала: «То, что вы говорили, было просто ужасно, вы как будто все препарируете». Наш доклад был посвящен критическому разбору того, как используется образ детей и взрослых с инвалидностью в СМИ и кинематографе. Ощущение необходимости и нужности от своей работы появляется неожиданно, например когда получаем письма от наших читателей-инвалидов с благодарностью за наши публикации или с критикой, предложениями дискуссии и сотрудничества. Или когда нас приглаша-

**Павел Васильевич Романов**

Государственный университет –  
Высшая школа экономики,  
Москва / Саратовский  
государственный технический  
университет  
pavel.romanov@socpolicy.ru

**Елена Ярская-Смирнова**

Государственный университет –  
Высшая школа экономики,  
Москва / Саратовский  
государственный технический  
университет  
elena.iarskaia@socpolicy.ru

ют выступить в СМИ по горячей теме. Мы проводим социологические фотовыставки и презентации наших календарей, и люди приходят, бывает приятно видеть, что им нравится то, что мы делаем. А специалисты органов исполнительной власти не только просят поддержать разработанную ими программу на заседании правительства области, но и приглашают на заседания рабочих групп, где возможна критика и конструктивный диалог. Ну и, разумеется, когда студенты говорят что-нибудь такое: «Да, этот курс мне кое-что в жизни прояснил».

2

Да, пожалуй, можно согласиться с тем, что вопрос полемически «огрублен», конечно, ситуация намного более сложная, и не только в той науке, которой мы занимаемся, но в целом в социальных науках. Редко можно найти человека, который, занимаясь «высокой наукой», совсем игнорирует сигналы реального мира. Вместе с тем хорошего знания теории, как нам кажется, не достаёт всем поколениям. А вот тех, кто безоглядно и старательно «удовлетворяют сиюминутные нужды общества», действительно много. Это особенно заметно в сегодняшней ситуации широко распространённого прагматизма, когда и система образования, и рынок труда, да и (чего греха таить) ценности абитуриентов и их родителей, исследователей и преподавателей целиком повернуты в сторону полезности. В социальных науках — например, в социологии и социальной антропологии — полезность знания зачастую понимается чересчур упрощённо. С одной стороны, полезно то, что приносит преимущества (доход, безопасность или власть) самим ученым (в таких случаях их величают «экспертами»). С другой стороны, полезными знаниями часто называют такие сведения, которые: а) предельно очевидны и понятны (и подчас ожидаемы) для «заказчика» или пользователя; б) не противоречат ценностям и убеждениям таких пользователей; в) оправдывают их действия или намерения; г) могут быть применены для продвижения каких-то уже задуманных планов и действий.

В таком толковании полезности таятся значительные риски, поскольку не все ученые готовы рисковать своим статусом, репутацией, поэтому сознательно или неосознанно предпочитают одни практические исследования другим. Возможно, изучать потребительские свойства товара, проверять готовность граждан следовать предложенной логике реформ или управленческих воздействий в чём-то легче, чем ставить под сомнение логику политических преобразований, да и саму риторику исследования, которая заказывается и нередко направляется со стороны чиновников или рынка. В результате появляются такие практически полезные, но во многих отношениях несостоятельные концепты в социальной политике, как, например,

«экономические дезадаптанты» (идея начала 1990-х гг. в отношении тех высококвалифицированных работников, кто не захотел забросить фрезерный станок и перейти торговать носками), «иждивенцы» и «притворяшки» (идея относительно широкого распространения представителей низкодоходных групп, стремящихся обмшурить органы социальной защиты и получить дополнительные выплаты), «неполные», «неблагополучные семьи», «неблагополучные дети» и многие другие. Возможно, подобная логика имеет право на существование, но подобные «прикладные» исследования нуждаются в большей рефлексивности относительно идеологии и последствий их выводов.

Что касается соотношения практического / теоретического в тех областях, которыми мы занимаемся, вполне очевидно, что без внятной теории исследователь обречен на собирательство ничего не значащих фактов. Сейчас в России определен дефицит теоретизирования в области социальной антропологии и социальной политики. Трудно сказать, когда этот зазор будет заполнен и достаточно ли для этого только лишь импорта зарубежных идей. Тут нужен осмысленный диалог, более широкая дискуссия, на развитие которой мы надеемся, публикуя описательные исследования вместе с теоретическими работами и переводами в рамках наших издательских проектов.

На наш взгляд, классическая российская этнография и советская социология сложились как практико-ориентированные проекты. Кроме того, с теорией было все ясно: марксизм-ленинизм, а точнее, местная риторика, оправдывающая все ошибки и обосновывающая все шаги советской власти. Причем практицизм здесь можно рассматривать исключительно в тех аспектах, о которых мы упоминали выше — полезное знание для управления, оформленное либо понятным, либо «научным» языком, подчеркивающим эзотерический статус носителей научного знания. Противоречивым образом тут сочетались схоластика и утилитаризм. За всеми этими разысканиями о коммунистическом труде, советском образе жизни, единой общности «советский народ» стояли не столько теоретические модели, сколько практические (нередко утопические) проекты. Многие представители этого типа практико-ориентированных ученых в постсоветской академии сохранили свои позиции и стремятся доказать свою полезность власти в выработке патриотической идеологии, управлении народом, критике вольнодумства.

Такое впечатление, что среди молодого поколения увлеченных «практических ученых на службе общества» много меньше. Между тем можно трактовать «практику» как работу по заказам



и заданиям властей или рынка. И если эпоха социологии на государственной службе уже канула в лету, среди экспертов разных возрастов больше тех, кто старается быть полезным не государству, а рынку. Но нам хорошо известны коллеги старшего поколения, которые либо никогда не искали любви от власти, находясь в оппозиции, либо давно переосмыслили свои позиции, участвуя в развитии независимой критической перспективы в социальных науках, полезной для полноценного анализа состояния демократии в обществе, трансформации социальной политики и публичной сферы.

У нас в Саратове студенты изучают дисциплину «Прикладная антропология». Они узнают о зарубежных и отечественных антропологах, этнографах, этнологах, чья деятельность имеет прямой практический результат в самых разных областях — от социальной работы, школьного образования и медицины до автодилеров, судебной системы и управления космическими полетами. «Практический смысл» любой сферы деятельности может быть вскрыт, десакрализован — в одних случаях для адаптации новичков в какой-либо новой сфере деятельности (наподобие «инструкции для выживания»), в других — для вынесения экспертного мнения при принятии судебных решений<sup>1</sup>, в третьих — для лучшего понимания поведения потребителей и так далее. Об использовании антропологии в маркетинге, пожалуй, известно более всего<sup>2</sup>.

Помимо чисто научного стремления понять жизненный мир рыночных агентов, бизнес прибегает к этнографическому методу в целях контроля качества обслуживания и изучения спроса. Сегодня уже не редкость проведение оценки «таинственными покупателями» (mystery shoppers), которых подражают фирмы, чтобы проверить качество работы своих служащих. Специально нанятые потребители становятся исследователями, испытывая на себе качество обслуживания. Включенное наблюдение «под прикрытием» позволяет менеджерам контролировать своих подчиненных, работающих за прилавком магазина, консультантами в гипермаркетах, заправщиками на бензоколонках.

Здесь мы вступаем в русло дебатов о «прямой пользе» от антропологии и этнографии. Для кого и для чего мы предоставляем новые знания и познавательные инструменты? Для более эффективного, тонкого и изощренного управления обществом или для лучшего понимания между людьми? Для политиков,

<sup>1</sup> См. о работе этнографа Дианы Вон в расследовании катастроф двух космических кораблей-челноков в США: [Вон 2008].

<sup>2</sup> См.: [Ярская-Смирнова, Романов 2007].

бизнеса и полицейских — или для обычных людей? Для системы или для жизненного мира? В истории науки известны периоды, когда антропологи и социологи приносили ощутимую пользу менеджерам предприятий, военным ведомствам — и профсоюзам, правозащитникам, экологическому и другим социальным движениям. Стоит ли говорить, какие именно проекты лучше финансируются и где положение исследователя безопаснее?

Бизнес финансирует разработку специальных инструментов, программного обеспечения, спонсирует техническое оснащение исследователей, которые могут быстро систематизировать материалы наблюдения, чтобы на основании полученных результатов дизайнеры могли разработать новые категории товаров. При этом этнография позволяет маркетологам и рекламистам (а также разрабатывающим продукт инженерам или методологам) найти более адекватные, узнаваемые потребителями культурные коды для использования их в репрезентациях товаров и услуг.

Тем самым антропологи или социологи, прибегающие к «естественным», этнографическим методам, становятся социальными инженерами. Возникает вопрос. Является это интервенцией государства и бизнеса в частную жизнь граждан с целью подгонки дизайна и производства к нуждам потребителей или же это подгонка норм и стиля жизни под национальные стандарты? Скорее всего, это обоюдоострый процесс.

**3**

В многом мы прояснили свою позицию на этот счет, отвечая на предыдущий вопрос. Поскольку мы работаем одновременно и в вузах, и в независимой исследовательской организации, практическая значимость для нас — это предложение своего понимания и тех свидетельств, которые его подкрепляют, в поле публичной дискуссии, а также выход за пределы академии — в поле образования, переговорных площадок, акционизма, в том числе с привлечением фотографии, СМИ, кино. Вероятно, в тех терминах, которые предложены в самом вопросе, — это роли эксперта и фасилитатора обсуждений, происходящих в самых разнообразных формах — совещания в министерстве, публикации в электронной периодике, дебаты в радиостудии, семинары для журналистов или соцработников, междисциплинарные конференции. Иногда кажется, что удастся творить новое знание, но это получается лишь когда идет интересный спор, совместная творческая работа или горячая дискуссия.

**4**

Мы не уверены, что где-то существуют фиксированные критерии. В разных фондах они могут различаться, к тому же там нередко происходит пересмотр приоритетов и смена требований.

Важно отметить, что грантовая поддержка социальных наук была в 1990-е гг. и до сих пор остается реальностью в России, самые интересные и важные исследования проведены как раз на эти деньги. Сегодня сложился рынок грантодающих и грантополучающих организаций, здесь действуют группы ученых, отдельные исследователи в поле социальных наук, и эта довольно сложная среда функционирует и на отечественном, и на европейском, и на более широком международном уровне. На этом рынке обращаются довольно большие средства, тут выделяются разные сегменты, формируются критерии участия и успеха.

Если говорить о российском сегменте финансирования социальных наук, то, вероятно, лучше сразу оставить за скобками масштабные гранты и запросы на исследования (тендеры), которые предлагаются в рамках государственных, региональных и муниципальных торгов и конкурсов. Это сотни миллионов рублей, часть из них, вероятно, расходуется и на настоящие научные проекты, но в целом на данный момент в существующей бюджетной системе ни для кого не секрет, что подавляющая часть таких средств идет «на распил», и ни о какой практической пользе и теоретическом выходе речи идти не может.

РГНФ и РФФИ, несмотря на то что тоже сейчас критикуются за несовершенство механизмов отбора — предвзятость, «кумовство» (см. публикации А. Сахарова, М. Гельфанда), делают очень важное дело, поддерживая конкурсный принцип распределения средств. Жалко только, что средства эти очень невелики и процесс их реализации весьма бюрократизирован. Некоторые вузы сейчас начинают включать грантовые механизмы, и это шаг в правильном направлении. Грантовой поддержки социальных исследований со стороны отечественных негосударственных фондов, на наш взгляд, не существует. Несколько единичных примеров не создали систему, тогда как активность зарубежных организаций-доноров в последние десять лет резко сократилась. Таким образом, о некотором сложившемся рынке говорить можно, а вот о его адекватности, способности поощрять развитие социальных наук — очень трудно.

Вероятно, в разных сегментах грантового рынка действуют разные векторы развития социальных наук. Одни ожидают от науки вклада в укрепление патриотизма, другие хотели бы использовать ее влияние для утверждения гражданского общества, демократических ценностей, третьи желали бы видеть инструментальную полезность таких знаний для управления народонаселением или организациями. Эти теоретические и прикладные стратегические цели и приоритеты складываются

ся у доноров под влиянием множества факторов — идеологии организации, научной моды, лоббистских групп среди ученых, личных вкусов тех, кто принимает решения. Но в любом случае хотелось бы подчеркнуть, что тот научный продукт, который в конечном счете уходит с рабочего стола ученого, чью работу поддержали через грант, — это целиком авторский результат, со всеми плюсами и минусами индивидуального взгляда, а не фонда и не донора.

Конечно, научная деятельность отчасти направляется через грантовые приоритеты, но мы никогда не слышали, чтобы фонды водили рукой ученого, проводящего исследования, как это видится в мрачных фантазиях тем, кто ностальгирует об эксклюзивных, гарантированных и бесконтрольных академических кормушках, подобных системе академических институтов, построенной в советские годы. У системы грантовой поддержки, разумеется, множество недостатков, но их в значительной мере компенсируют достоинства.

5

Потребность в прикладной антропологии (как и в прикладной социологии) в первую очередь определяется институциональным и политическим контекстом. Американский контекст характеризуется, на наш взгляд, присутствием сильных коллегиальных и демократических традиций, верой (подчас наивной) в позитивную науку, научное управление, построенное в духе идеалов рациональной бюрократии. В результате администрация учреждений и организаций, упомянутых в формулировке вопроса, вынуждена выстраивать отношения управления с учетом разнообразных и конкурентных факторов, кроме того, присутствует множество стимулов привлечь независимую экспертизу. Востребованность антропологии в этих условиях связана, по-видимому, с культурной организацией общества, с необходимостью признавать и управлять культурным многообразием, а также с формирующимся в семье, школе, масс-медиа интересом, направленным не на себя, а вовне — к пониманию других групп, сообществ, культур. Прикладное антропологическое знание оказывается востребованным в связи с особым характером компетенций, которыми располагают представители этой дисциплины. Свою положительную роль играет и общий институциональный контекст укорененности и приемлемости социальной антропологии в профессиональной структуре общества как траектории образования и карьеры.

В этом смысле Россия — достаточно контрастный пример. Профессии или должности «социальный антрополог» не существует. Управление очень иерархичное, отсутствуют или плохо развиты механизмы учета интересов различных групп

и независимая экспертиза, социальное знание не востребовано в качестве элемента системы управления. Многих администраторов в принципе можно понять: в России нелегко найти компетентного специалиста, который был бы способен методологически корректно и непредвзято провести практико-ориентированное исследование, подготовка таких людей пока не соответствует международным стандартам. Кстати, вместо того чтобы ее улучшать, в российском образовании предпочли просто остановить подготовку социальных антропологов. В результате реформы высшей школы «специалитет» по социальной антропологии исчезнет, а в результате борьбы за власть, интриг и разборок между «социальными антропологами» и «этнографами / этнологами» бакалавриата просто не будет.

Впрочем, только что появился утвержденный Минобразованием стандарт магистратуры «Антропология и этнология», и, несмотря на то что антропология уже не определяется как «социальная», стоит приветствовать и развивать появившуюся возможность. В стандарте, кстати, прикладная сущность дисциплины прописана очень широко — здесь и экспертно-аналитическая, и культурно-просветительская, и управленческая деятельность в большом разнообразии организаций и учреждений. Очень хотелось бы надеяться, что в деле подготовки магистров сложится более ощутимый консенсус и взаимопонимание разных направлений социальной антропологии и этнографии. Это должно стать нашим прикладным приоритетом.

### Библиография

- Вон Д.* О релевантности этнографии для производства публичной социологии и практических действий // *Общественная роль социологии* / Под ред. П.В. Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой. М.: Вариант; ЦСПГИ, 2008. С. 123–129.
- Ярская-Смирнова Е.Р., Романов П.В.* Этнография как профессия: между управлением, рынком и «чистой» наукой // *Профессии.doc. Социальные трансформации профессионализма: взгляды снаружи, взгляды изнутри* / Под ред. Е.Р. Ярской-Смирновой, П.В. Романова. М.: Вариант; ЦСПГИ, 2007. С. 382–404.

## АНДРЕЙ ТОПОРКОВ

1

Многие темы, которыми мне доводилось заниматься, несомненно, представляют интерес не только для специалистов. Например, в последние 12 лет я в основном изучаю вербальную магию, причем параллельно работаю в архивах с рукописными заговорами XVII–XVIII вв. и в экспедициях на Русском Севере с магическими специалистами. Заговоры, конечно, многим интересны, хотя обычным людям непонятно, зачем их публиковать и изучать, если ими не пользоваться. Кроме этого приходится считаться с тем, что мои занятия каким-то образом соотносятся с деятельностью современных экстрасенсов и народных целителей. Проблема эта имеет несколько аспектов.

При подаче документов на получение грантов и при обосновании планов научной работы необходимо подробно обосновывать тематику своих занятий. Для фондов, выделяющих деньги на научные разработки, и для моего академического руководства важно знать, что я занимаюсь именно наукой и не планирую разыгрывать из себя практикующего мага, пропагандировать нетрадиционную медицину и т.д. Помню, что когда я проходил отборочное собеседование для получения стипендии программы Фулбрайта, сразу возник вопрос о том, собираюсь ли я практически использовать полученные знания. Я, естественно, ответил, что не собираюсь, однако вопрос этот имеет более сложный характер. Ведь очевидно, что опубликованные заговоры может использовать кто-то другой, причем совсем не так, как мне бы этого хотелось.

В своей последней книге я опубликовал около 500 магических текстов, извлеченных из 36 рукописей, хранящихся в 8 архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Ярославля. В предисловии к этому изданию я попытался подробно обосновать значение

публикуемых текстов для разных гуманитарных дисциплин: истории словесности, археографии, культурной и социальной антропологии, истории русского языка, диалектологии, истории религии, исторической психологии, истории медицины [Русские заговоры 2010: 8–12]. Мне кажется, что вещи, о которых я написал, для специалистов в общем достаточно очевидны, однако хочется надеяться, что книга попадет не только в руки специалистов.

Для ученого, который работает в такой сомнительной области, как изучение магии, принципиально важно противопоставить себя разного рода экстрасенсам, оккультистам и т.п. В то же время мне известны случаи, когда этнографы и фольклористы, которые занимались заговорами, на каком-то этапе сами пытались стать магическими специалистами. В принципе такой путь от теоретического изучения предмета к его практической разработке может показаться естественным, однако реально он оказывается неблагоприятным для научной деятельности. Все-таки изучать заговоры с точки зрения фольклористики, лингвистики, истории религии и т.д. — это нечто совсем иное, чем использовать их для снятия порчи или наведения любовной страсти. Не говоря уже о большой сомнительности самих этих занятий, они дискредитируют и ученых, которые выступают как экстрасенсидилетанты, и саму научную деятельность, которая становится чем-то вроде прикладной магии.

В настоящее время существующий спрос на заговоры удовлетворяется в основном переизданиями сборников И.П. Сахарова и М. Забылина, которые включают множество фальсифицированных текстов. Обратившись к Интернету, легко найти online сотни заговоров, которые то ли сочинены народолюбивыми авторами XIX в., то ли являются современными переделками каких-то заговоров русской традиции, то ли переведены с иностранных языков.

При этом подлинные тексты старинных русских заговоров XVII–XIX вв., сохранившиеся в рукописных сборниках и следственных делах о колдовстве, до недавнего времени практически оставались неизвестными. Между тем только на основе аутентичных текстов возможно, например, исследовать заговорную традицию в компаративном отношении, сравнивая ее с другими славянскими или индоевропейскими традициями, изучать социальный срез жизни общества, в котором бытовали заговоры, и т.д. Проблема заключается в том, что при чрезвычайно низком уровне осведомленности читающей публики об истории фольклористики и малой востребованности современных научных изданий можно предполагать, что заго-

ворная традиция будет и дальше изучаться на основе текстов И.П. Сахарова и М. Забылина.

Конкретная ситуация, в которой приходится объяснять, кто мы такие и чем занимаемся, — это ситуация экспедиции и общения с информантами. Мы должны не просто сообщить о себе, но и расположить к себе людей, обосновать необходимость наших занятий, приготовить собеседников к тому, что им придется подчас отвечать на странные вопросы. При этом все равно приходится смириться с тем, что степень откровенности информантов и уровень их доверия к собирателю будут относительно невелики до тех пор, пока ваш собеседник не убедится в том, что вам действительно по-человечески интересно то, о чем он вам рассказывает.

Перед началом экспедиции обычно проводится подробный инструктаж, в котором все эти вопросы подробно обсуждаются со студентами. От того, в какой мере мы сможем объяснить, кто мы такие и чего хотим, во многом зависит успех нашей экспедиции в целом. Мы вынуждены считаться с тем, что деревенские жители, с которыми мы имеем дело, не знают вообще, кто такие антропологи, этнологи и археографы, а об этнографии и фольклористике имеют смутные представления. Слово «фольклор» у информантов ассоциируется главным образом с фильмом «Кавказская пленница» и соответственно с Шуриком, который, как известно, собирал тосты и при этом напивался. Поэтому лучше не говорить, что мы собираем «фольклор», так как это может быть воспринято как намек на то, что мы добиваемся угощения.

Желательно также, чтобы студенты называли своего руководителя просто преподавателем. Если они скажут, что я «профессор», то это может быть воспринято как воровская кличка; если сообщат, что я «доктор наук» или просто «доктор», то местные могут подумать, что я умею лечить, и станут обращаться ко мне за медицинскими советами. Если не дай Бог кто-нибудь еще и скажет, что я «член-корреспондент», то весь следующий месяц мое появление будет вызывать у местной молодежи неудержимый хохот.

Наименее травматичным и в то же время правдивым объяснением ситуации является то, что участники экспедиции — «студенты-историки», которые проходят практику, а общая задача наша состоит в том, чтобы сохранить память о прошлом. Впрочем, информанты все равно будут считать, что мы выспрашиваем их обо всем с какими-то практическими целями. Городские жители часто воспринимаются ими как недоумки, которые не умеют элементарных вещей (например, доить корову).



2

В то же время готовность участников экспедиции часами выслушать рассказы пожилых людей об их жизни вызывает у последних положительные эмоции. Особенно для одиноких пожилых людей приезд в деревню экспедиции становится важным событием, возможностью поделиться своими проблемами и воспоминаниями.

Насколько я понимаю, основная функция любой гуманитарной науки заключается в том, чтобы обеспечить человеку понимание чего-либо: истории, языка, народных традиций и т.д. В этом смысле я не вижу принципиальной разницы между теоретическими и прикладными разновидностями одних и тех же научных дисциплин. И создание теорий, выдвижение гипотез, разработка понятийно-терминологического аппарата, и решение частных задач, формулировка конкретных прогнозов, рекомендаций в конечном счете преследуют одну и ту же цель — объяснить смысл явления, его причины и функции.

Что касается области, в которой я работаю, то, мне кажется, в последние лет 20 произошел общий спад интереса к теоретической проблематике. Практически это выражается в том, что нет каких-то ярких направлений с определенно выраженным лицом, группами сподвижников и т.д. Единственная научная школа, которая существует в этой области, — так называемая «московская этнолингвистическая школа» — сформировалась в начале 1980-х гг. и каких-то «прорывных» идей в последние десятилетия, кажется, не выдвигала. В то же время существует некоторое количество периодических и нерегулярных изданий, которые, по-видимому, вообще не нуждаются в какой-то определенной методологии и просто предоставляют площадку для формулировки разных точек зрения.

Себя я не отношу ни к чистым теоретикам, ни к чистым эмпирикам. С одной стороны, много приходится заниматься разной эмпирической работой (вроде чтения старых рукописей и подготовки их к изданию), с другой — постоянно знакомлюсь с теоретической литературой по культурной и социальной антропологии, поскольку преподаю этнологию в РГГУ и читаю лекции на общие темы.

В целом теоретические исследования для меня интересны постольку, поскольку они помогают организовать практическую работу, предоставляют некий набор опробованных методик, дают представление о движении науки. В этом смысле для меня интересна не столько теория, сколько история теоретических учений, причем в области не только фольклористики и этнологии, но и языкознания, философии, психологии, социологии, семиотики и т.д. Знакомство с ними помо-

гает избежать ошибок, которые уже заводили в тупик наших предшественников.

Плохая теория плоха не тем, что она внутренне противоречива, не основана на фактах и т.д., а тем, что она мешает разглядеть изучаемый объект, подсказывает ложные пути его интерпретации, дает ощущение своей непогрешимости. Наиболее пагубно, когда студент или аспирант попадает к научному руководителю, одержимому какой-нибудь «всеобъясняющей» теорией или методологией. Переучить такого молодого специалиста будет значительно труднее, чем обучить его в первый раз.

«Поколенческие» предпочтения, может быть, выражаются в том, что великие ученые-гуманитарии второй половины XX в., которые выдвигали «сильные» теории, почти все уже покинули, а молодое поколение, кажется, занято исключительно эмпирическими темами и вообще не имеет представления о том, что помимо этого может быть что-то другое.

Я помню, что, когда читали лекции Ю.М. Лотман, Б.Н. Путилов, С.С. Аверинцев и другие ученые старшего поколения, они начинали обычно с общих положений, формулировали какие-то глобальные идеи, а потом уже переходили к частным вопросам. Сейчас все, как правило, и начинается, и кончается чистой эмпирией, в лучшем случае с историографией вопроса.

С точки зрения методики преподавания, конечно, очень важно, чтобы на лекции не просто сообщались факты, но выдвигались гипотезы, сталкивались разные точки зрения, демонстрировались их достоинства и недостатки. Например, когда я читаю лекцию по теории этноса, я сначала прошу студентов записать в столбик признаки этноса, а потом мы обсуждаем их и после этого каждый из них отвергаем и зачеркиваем. В результате остается обескураживающая картина столбика зачеркнутых признаков. При этом я вовсе не считаю, что этнос «умер» и само это понятие имеет фантомный характер. Просто такой методический прием позволяет лучше осознать сложность проблемы и объяснить множественность существующих теоретических подходов.

**4**

Я довольно часто пишу рецензии на книги и выступаю на различных конференциях по поводу чужих докладов. В этих случаях я позиционирую себя (во всяком случае в своих собственных глазах) как «эксперта», т.е. «знатока» в определенной области, которой я занимаюсь. Проблема в том, что читатель или участник конференции вовсе не обязательно считает меня экспертом и знатоком и может объяснять мое поведение совершенно по-другому (например, как проявление моего дурного

характера). В этом смысле я рассчитываю на каких-то идеальных читателей или слушателей.

Что касается самой научной работы, то в ней я больше всего ценю как раз получение нового знания. Например, когда я начинаю комментировать какой-нибудь текст, то, как правило, очень скоро убеждаюсь в том, что сначала ничего в нем не понимал. Глядя на прокомментированный текст в ретроспекции, я получаю подлинное эстетическое удовольствие от того, что в нем выявились такие глубины смысла, о которых ни я, ни кто бы то ни было другой даже не подозревал.

В общении со студентами я с возрастом все больше перехожу на роль «хранителя» научной традиции. Еще в студенческие годы мне посчастливилось общаться с филологами, которые составили гордость нашей науки, причем часто это было не формальное общение, а многочасовые беседы в экспедициях, совместных прогулках на природе и т.д. Сейчас становится ясно, что я волею судеб оказался причастным к великой научной традиции XX в., которую полезно было бы передать дальше по эстафете. Вопрос только в том, найдется ли кто-нибудь из молодых, готовых столь же внимательно слушать и усваивать.

**5**

По-честному говоря, я с трудом представляю себе в наших условиях такие «крупные компании, государственные организации, школы, медицинские учреждения», которые бы нуждались в сотрудничестве с антропологами. В принципе антропологи могут работать в институтах РАН, университетах, где есть соответствующие кафедры, музеях, специализированных библиотеках. Однако всего этого очень мало даже в Москве и Санкт-Петербурге, не говоря уже о стране в целом. Достаточно сказать, что в Москве до сих пор нет ни одного специализированного этнографического музея, сравнимого с Кунсткамерой или Российским этнографическим музеем.

### Библиография

Русские заговоры из рукописных источников XVII — первой половины XIX в. / Сост., подг. текстов, статьи и комм. А.Л. Топоркова. М.: Индрик, 2010.

## ВАЛЕНТИНА УЗУНОВА

1

Изучение бездумного конформизма, жестокости и агрессии, слепого подчинения авторитету, предрассудков и прочих непривлекательных сторон человеческого поведения возможно только при условии принципиальной убежденности в действенной силе научного знания. Это сродни вере в Разум, которая, как и любая вера, проходит испытания на прочность. Эта вера находит подтверждение в возможности практического использования знаний о человеческой природе и человеческом поведении. Никто не сомневается в том, что даже всей совокупности накопленных знаний о таком объекте всегда будет мало, так как его историческая и ситуативная изменчивость проводит линию только кажущегося соприкосновения теории и реальности. Но в отдельных точечных позициях гуманитарные науки обогащают собственные теоретические изыскания практическим опытом, который одновременно способен и принести пользу — положительные последствия нового знания в интересах образования.

Любой круг профессионалов является «общностью» в академическом смысле термина, имеющего предписывающие (нормативные и идеологические) оттенки значения. У нас имеется возможность анализировать наши общественные действия и коллективные преодоления социальных проблем. А тот факт, что мы сами этой возможностью пренебрегаем, свидетельствует о жестких охранительных границах, созданных настроением большинства членов нашей корпорации. Некоторая часть ученых продолжает считать главной характеристикой своего положения в науке «общность местоположения»; другая часть интерпретирует свое местоположение в науке как нахождение в «сети взаимоотношений», для которых характерны взаимность во взаимодействии, но и конфликты; третья отладила

«специфический тип социальной связи», основанный на убеждении, что они обладают общим смыслом или силой веры — позиция, которая не нуждается в локальной географической привязке.

В каждой группе существуют свои научные авторитеты. Но из всех трех групп в «охране границ» нуждается только первая. Она и действует соответствующим образом, стремясь удержать свои позиции, наращивая силу своего давления в научной политике за счет кооптации в свои ряды любых чиновников, наделенных любыми распорядительными полномочиями. Бюрократизация науки не просто кому-то выгодна, она стремительно сужает пространство мысли, прежде всего гуманитарной. Вопрос «Что должна делать данная отрасль науки?» решается где-то и кем-то из чиновников. В такой ситуации на правильный вопрос «Что должны делать ученые?» все большее число ученых отвечает тем, что общество называет «утечкой мозгов». И чем больше воспитанных нами учеников оказываются востребованы мировой наукой — тем больше нам чести.

Я соглашусь, что эта позиция экстремистская, но она является плодом наблюдений за трудными судьбами молодых людей, пришедших в науку с мечтами об улучшении жизни людей. Коль скоро после смерти академиков А.Д. Сахарова и В.Л. Гинзбурга научное сообщество даже не пытается остановить нарастающий вал обскурантизма, то следует приветствовать увеличение числа молодых людей с высшим образованием, даже невзирая на его качество. Не умением, так числом! Станем «стартовой площадкой» для людей, абсолютное большинство которых не примет наука, но они будут думать и думать всю жизнь о том, что у них были способности, которые не оказались востребованы, а следовательно, они воспитаны в стране, которая так и не признала человеческую жизнь как высшую ценность.

Мы скептически относимся к предположению о том, что социальное давление непременно ведет к безвольному подчинению. Человеку также присущи и независимость, и способность преодолевать групповые пристрастия. Для меня чрезвычайно интересны именно экспериментальные ответы на эти противоречия. Много лет я нахожу результаты психологических экспериментов в публикациях проекта «Высшей школы психологии» под редакцией одного из наиболее известных и титулованных социальных психологов современности Элиота Аронсона [Общественное животное 2003]. Любая тема экспериментально методически выверена, красиво изложена. Но заставляет страдать. Даже постановка таких вопросов, как, например, «зависимость бесчестного поведения от внушенной самооценки»

или «эффекты включения разного типа информации в сообщения, возбуждающие чувство страха», «человеческая агрессия», «предубеждение», «придание смысла бессмысленности: анализ Джонстауна» и множество других, заставляют чувствовать себя обделенной.

И это не чувство непоправимого отставания в науке, не зависть к возможностям финансирования научных лабораторий в университетах, но другое. Как это мы так опростились, что научное знание о наших людях и нашем собственном обществе стало совсем не востребованным? Когда-то философский факультет ЛГУ не закрыли только потому, что «перед Западом будет неловко» (знаю это со слов декана периода времени своей учебы). А теперь, видимо, все «ловко»? Неужели, как грузинская интеллигенция времен Гамсахурдии, будем думать только о спасении своих детей и внуков от «народа, которого мы, оказывается, не знали»? Это цитата из встречи в Союзе ученых с грузинскими учеными того периода. Тогда, действительно, следует не только обучать их иностранным языкам, но и учить заявляться на иностранные гранты, пока не прикрылась эта щелочка, через которую просачивается солидарный интерес к нам.

Владимир Александрович Ядов написал: «Начинают возникать сомнения относительно “устарелости” организмических взглядов на общество и еще хуже — социал-дарвинистских. Так ли уж наивны были классики XIX в., “примеряя” к сообществам *homo sapiens* механизмы межвидовой борьбы наших неразумных предков?» [Ядов 2009: 115]. Во всей книге эта цитата единственная, которая нарушает настроение автора, придерживающегося в социологии концепции деятельно-активистского подхода. Полагаю, что авторы и читатели «АФ» тоже остановили бы на ней свое внимание.

Мысли о шаткости научного фундамента порождают и фундаментальную угрозу самой способности осмысления социального пространства. Например, еще в 2004 г. специалисты ИРЛИ РАН едва ли не по принуждению общественности издали сборник статей «Что думают ученые о “Велесовой книге”» [Что думают ученые 2004]. Но на какие гранты в 2008 и 2009 гг. был организован «ответ общественности» на эту книгу, прозвучавший на двух Международных конгрессах «Докирилловская славянская письменность и дохристианская славянская культура» (ЛГУ им. А.С. Пушкина, Государственный университет управления, Академия фундаментальных наук)?

Главным персонажем этой безумной мистерии является В.А. Чудинов, представивший по следам своих книг по «новой

славянской историографии» доклады «Кроманьонец как протоариец и протославянин и его два вида письма», «Структура славянского ведического храма и ее развитие до христианского храма», «Русь Яра (Ара), арийцы и соколовяне (славяне)», «Этрусски, “этрусетска мова” и роль Руси в освоении Северной Италии», «Греция как грако-склавинова держава с русским языком до эллинов, критское иероглифическое письмо как разновидность руницы», «Страна варягов Вагрия, ее русское население и образование Порусья (Пруссии)». Любопытно, что организаторы мероприятий заблаговременно заверили «солиста», что «предоставят самую широкую аудиторию, заинтересованную и уже подготовленную к восприятию». Как это стало практически возможным?

Изучение «30-тысячелетия русской культуры» — это реальное достижение проф. В.Н. Скворцова на посту главного идеолога партии «Единая Россия» по Ленинградской области, который учит: «Для нас важно, чтобы каждый молодой человек думал о том, что не возникают нации вновь и не умирают, не исчезают государства — это нехорошая теория. Наше государство — вечно, вот эту тему мы проводим вместе с президентом, вместе с нашей Партией».

Можно понять специалистов из ИРЛИ, которые брезгливо отстраняются от дебатов на тему «Велесовой книги», можно понять журналистов, которым надоела постоянно всплывающая тема «Протоколов сионских мудрецов» и прочие мании преследования в умах политиков. Кажется, только правозащитники не забыли, что именно на основе этих книжонок лепили тексты своих листовок, брошюр и книг члены общества «Память» еще в конце 1980-х гг. Так, может быть, только правозащитники и могут являться социальными заказчиками наших научных знаний, стараясь не допустить полного разгула мракобесия в нашем обществе?

2

Каждый из нас выбрал свой вариант значения пользы — доказательства правоты и принесения положительных результатов. Социологов воспитывают так, чтобы они сами умели придать интерес тому, чем им приходится заниматься, т.е. любой практической задаче. Труднее сказать, с кем мы не можем или не хотим разговаривать. Стремление преодолеть безразличие к науке как одно из доминирующих настроений общего магистрального безразличия в нашем обществе понуждает нас к доказательствам своей нужности как условию выживания. От науки требовали и требуют обсчитывать цену человеческой жизни в соответствии с мерой ее профессиональной пригодности. Математически задача простая, Перельман здесь не нужен. Под прессингом этой властной установки исчезает представле-

ние о социальном государстве (ст. 7 Конституции РФ). Одновременно исчезает даже возможность подходов к пониманию принципа верховенства гуманитарного права. Пути к практическому его применению наукой не проторены. А собственно почему? А потому, что бьют на наших глазах правозащитников — тех самых заказчиков, которые считают возможным обратиться к ученым с просьбой о разъяснении, например, была ли в Российской империи «раса»? Спасибо, Марина Могильнер, рассмотрев уникальный материал о деятельности Русского антропологического общества [Могильнер 2008], отвечает на этот вопрос.

Требование «абсолютного запрета пыток» хорошо проиллюстрировано в музеефицированных застенках средневековых крепостей, где «пыточные камеры» с орудиями палачей видел каждый ребенок. Поражает воображение взрослых людей и изобретательность тюремщиков Шлиссельбурга. Не морили они заключенных ни голодом, ни холодом, ни грязью по колону. Абсолютной информационной тишиной пытали, даже Библию читать не давали. Уверена, что на эту тему историками написано достаточно книг, так что правозащитники в своей практической деятельности могут опереться на историю вопроса. Вот и «Кресты» скоро перебазированы на недостижимый для обзора остров на одном из озер Карелии.

Кстати, о Карелии. Если у нас этой зимой на голову прохожих просто падали «сосули», то в Сортавальском районе республики, не убоявшись холода, действовала финская организация «Pro Karelia» [Панфилова 2010]. Я расспросила о программе ее деятельности в Хельсинки. Действительно, имеются намерения обратиться к российским соседям с планами по установке памятных знаков на местах исчезнувших поселений и по совместному выведению города Выборга из затрапезного состояния. Наши краеведы, безусловно, внесут свою лепту в обсуждение этих сюжетов, и мы с соседями лучше пойдем друг друга. Наверное, действительно существует мое «поколенческое предпочтение» думать, что понимание всегда открыто для опыта, отрицательного и положительного.

**3**

Предлагаемая коммуникационная ситуация обсуждения заставляет понимать «внешний взгляд» как текстообразующий фактор. Если мне задан маршрут движения к практическому преломлению слов в дела, то я прикинусь толмачем. Переводить тексты с русского теоретического на русский практический постараюсь так, чтобы «соблюдать требования почти немислимой верности оригиналу за счет предоставления почти неограниченной свободы в путях ее достижения», т.е. именно так, как учил Жак Деррида [Деррида 2000: 426]. А то, что само



по себе возникнет как «восполнительная функция перевода», отдам для практического применения.

4

Нужно освободиться от иллюзии социального волонтаризма, понимаемого как волонтаризм индивидуальный. Еще недавно было время, когда грантовое финансирование воспринималось однозначно как благо. Многие, кто быстро научился зарабатывать деньги на успешной продаже своих работ, послужили примером для остальных, стали проводниками мнений о новых социальных отношениях в науке. Научная молодежь сделала решительный шаг навстречу новшеству. Число грантозаявителей стремительно выросло, а число принятых на грантовое финансирование проектов не стало просто снижаться, но стало разнообразиться. В итоге грантовое финансирование стало играть роль идеологии: подтвержденное материально право ученых заниматься наукой позволяло им утвердиться и в собственных глазах. Следуя правилам игры, если бы грантодателем была я, то создала бы на базе МАЭ РАН школу научной социогуманитарной экспертизы Н.М. Гиренко [Узунова 2005]. Заказов на научную экспертизу текстов очень много. Это иллюстрация к вопросу о практической стороне обсуждаемых на этом форуме вопросов. А вот почему их так много? Это вопрос теории, только основанной не на обобщениях накапливаемых примеров практики уголовного терроризма, а на базе анализа примеров идеологии сегодняшнего политического терроризма.

5

Если наше общество сегодня актуализирует в публичном пространстве наиболее примитивные образчики расового мышления, то антропология не должна отзываться ни на его призывы, ни на его посулы. Если нарастающее экономическое неравенство в массовом сознании кодируется в расовых категориях, то антропология в сегодняшней России должна оставаться отверженной только элитарному академическому дискурсу, хотя бы с той единственной целью, чтобы сохранить свой методологический инструментарий. Международный научный язык современности позволит сформироваться следующим поколениям ученых, минуя школу, которая не заинтересована в развитии антропологии, так как понимает себя как агент нынешнего государства.

#### Библиография

*Деррида Ж.* Письмо и различие: Пер с франц. СПб.: Академический проект, 2000.

*Могильнер М.* Номо импегіі. История физической антропологии в России (конец XIX — начало XX вв.) М.: Новое литературное обозрение, 2008.

Общественное животное. Исследования / Под ред. Э. Аронсона. СПб: Прайм-Еврознак, 2003.

Панфилова О. В замерзающих районах Карелии появились листовки с призывом к выходу из России. Возбуждено уголовное дело // Новый регион. Петрозаводск. 2010. 28 янв.

Что думают ученые о «Велесовой книге». СПб.: Наука, 2004.

Узунова В.Г. Школа научной экспертизы Н.М. Гиренко // Ad hominem. Памяти Николая Гиренко. СПб.: МАЭ РАН, 2005. С. 287–301.

Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуальная база исследования российских трансформаций. СПб.: Интерсоцис, 2009.

## РЕВЕККА ФРУМКИНА

**1**  
**2** За полвека работы в науке мне постоянно приходилось отвечать на вопросы о том, а) *чем* я занимаюсь и б) *зачем* я этим занимаюсь. Отмечу, что вопрос «зачем» может исходить как от людей, плохо представляющих себе, что такое вообще *теоретические* разработки, так и от тех, кто «признает» результатом только прямую пользу от научных изысканий.

Немало и ученых, которые, сами занимаясь высокой теорией, как бы отказывают в подобном праве представителям других наук — с их точки зрения то ли малопочтенных, то ли бесполезных.

Несмотря на то что я занималась весьма разными проблемами (на первый взгляд скорее далекими от практики), бóльшая часть моих научных задач возникала — иногда непосредственно, иногда по довольно длинной цепочке — из задач, поставленных, выражаясь высоким стилем, *жизнью*. Некоторые из моих теоретических результатов (например, касающиеся количественных отношений между словарем и текстом) имели прямые и очевидные приложения; другие (например, исследования фундаментальных ментальных процессов, в частно-

сти, установление сходств и различий) тоже, в конечном счете, отвечают на вопросы, укорененные в практике повседневных взаимодействий между организмом и внешним миром, просто здесь соответствующая цепочка намного длиннее.

Тем не менее я всегда настаиваю на том, что занятия наукой *как таковые* относятся к ценностно-ориентированной деятельности в широком смысле слова: 1) наука ищет ответы на *собственные* вопросы; 2) вопросы, поставленные жизнью, должны быть преобразованы в *научные задачи*, иначе наука не работает.

3

Вопрос о позиционировании себя «для внешнего взгляда» в моем случае возникал не при обращении за грантами, а при работе с молодежью. По складу ума я — экспериментатор, а любой эксперимент ориентирован на решение весьма частной проблемы.

В теоретической лингвистике для эксперимента места не слишком много; но когда волею внешних обстоятельств в конце 1970-х гг. мне пришлось назваться *психолингвистом*, я оказалась представителем плохо очерченной научной области, где принято трудиться «без руля и без ветрил», т.е. вне какой-либо осознанной парадигмы.

В свое время такое положение в разных «нестрогих» областях знания было очень удобным для искателей легкого пути, что в конце 1970-х — 1980-е гг. привлекало молодых людей в науку не в меньшей мере, чем какое-нибудь *street art* сегодня привлекает жаждущих самореализации в искусстве.

В самом деле. Если *street art* — это «*такое art*», то почему не считать *научным* исследование, где опрошено всего 30 респондентов? В той или иной форме я сталкивалась с представлениями о том, что просто *это* — такая наука; и ничего нет страшного в том, что один и тот же термин (!) в пределах текста в поллиста употребляется в совсем разных значениях или что участники эксперимента могли по-разному интерпретировать невнятную инструкцию.

Сейчас занятия наукой в *среднем* плохо вознаграждаются обществом, а самореализация как таковая — в науке в том числе — в немалой степени стала пониматься прежде всего как достижение материального благополучия. В результате получается, что ученая степень — это прежде всего мощный социальный лифт, а уж какими путями она добыта — вроде не так и важно.

В областях с размытыми «нормами» *научности* (например, разного рода *cultural studies*; *gender studies*; *oral history* и т.п.) это

очень заметно. Поэтому если говорить о «поколенческих предпочтениях», то я вынуждена выступать не столько в роли хранителя определенной традиции, сколько в роли человека, настаивающего на разделении науки и эссеистики, науки и публицистики и т.п. А также, казалось бы, в несвойственной моему почтенному возрасту роли ниспровергателя авторитетов — точнее, авторитетов плохо понятых, а то и вовсе не прочитанных, зато *модных*.

Примером может быть труд Фуко «Слова и вещи» — одна из, быть может, пяти-семи книг, которые я не смогла осилить по причине полного непонимания ее идейного посыла. Я прочитала у Поля Вейна, что заглавие «Слова и вещи» имеет у Фуко «сугубо иронический смысл», но это мне не помогло. Основания читательского успеха этой книги мне и сегодня не ясны. Как мне представляется, главным стержнем в жизни и деятельности Фуко была борьба за *свободную* личность; а в его текстах этот посыл претворялся весьма сложным образом и не всегда по «академическим» правилам. Поэтому пафос *жизни* Фуко мне более понятен, нежели пафос его *текстов*. Однако ученых мы оцениваем по их *научным* трудам...

Вообще же преклонение не должно заменять понимание. Как когда-то сказала Л.Я. Гинзбург, применительно к авторитетам нам свойственно либо оплевывание, либо облизывание; сюда я бы добавила: а вместо изучения авторитетных текстов — их страстное цитирование.

Последнее хорошо видно на примере таких «модных» французских авторов, как Лакан, оставивший огромное количество текстов, но очень мало таких, которые можно отнести к науке. Если считать *научными* тексты Лакана, то очевидно, что быть ясным как минимум «не модно».

Замечу, что писать ясно о *мутных* предметах — трудное занятие; и мои небольшие по объему эссе требуют от меня усилий, нередко бóльших, чем это бывало при изложении собственных научных результатов.

**4**

Некоторое знакомство с системой распределения грантов на гуманитарные исследования вызывает у меня единственное желание: не иметь дела с этой системой ни в каком качестве. В экспертизе я иногда вынуждена участвовать, позволяя себе роскошь оставаться независимым экспертом. Конечно, я «умею» объяснять руке дающего, насколько ценными или малоценными будут именно вот эти (гипотетические) результаты; однако осмысленным это занятие оказывается крайне редко и преимущественно при работе с зарубежными фондами.

5

С антропологией я связана лишь как читатель отдельных работ. По-моему, неразвитость социальной антропологии в России — это частный случай парадигмальной «кособокости» наук о человеке и обществе, которая у нас ощущается особенно болезненно.

Ограничусь двумя сюжетами.

(1) *Марксизм и ученые-марксисты*. Маркс, некогда навязанный нам подобно картофелю при Екатерине, оказался в мусорном ведре — *весь*. Меж тем нельзя ожидать, что цепочка, из которой выдрали звено, вовсе не озаботившись его заменой, сохранит свои функции. Быть может, Маркса можно не читать — в таком случае, прочитайте Саймона Кузнеца.

Но есть ли вообще смысл у фраз вида «ведь N — марксист» — по-моему, разновидностей этого направления среди социально-экономических учений столь много, что в любом случае придется говорить: «N — последователь марксистского подхода, как его понимал NN и другие в то время». Это удачно сформулировал А. Дмитриев в своей работе об «академическом марксизме» (НЛО. 2007. № 88): «Марксизм, в понимании большинства социальных теоретиков начала XX века, был тождественен редукционистскому схематизму (“экономический материализм”) и слишком связан с крайними формами политического радикализма. Должна была измениться философская, интеллектуальная “рамка” марксизма, и, с другой стороны, должно было существенно трансформироваться само поле наук о человеке, чтобы их встреча и взаимодействие оказались возможными».

(2) *Русский / российский интеллигент и власть*.

М.Ю. Сорокина, известный историк науки, архивист и исследовательница жизни и творчества В.И. Вернадского, писала: «За свое воспроизводство, отравляющее все вокруг на многие годы, Система щедро платила. Задолго до Дэн Сяопина сталинский режим успешно реализовал модель “Одна страна — две системы”». Далее она цитирует неподцензурное письмо В.И. Вернадского сыну: «Я хочу и могу жить в России только будучи поставлен в особое положение и пока это имею» <[http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/sork97n.htm#\\_ftn20](http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/sork97n.htm#_ftn20)>.

Иными словами, в СССР сформировался новый антропологический тип — «русский интеллигент на особом положении». По поводу чего Сорокина добавила: «Но прощание с мифом всегда пропитано горечью». Что вызывает понятное желание горечи избегнуть, оперируя категориями *жертвы vs приспособленцы*. М.Ю. Сорокина сумела быть выше этого.

## ДЖУЛИЯ ХЕММЕНТ

1

Если говорить о двух последних вопросах — да. Поскольку я занимаюсь проблемами современной внутренней политики, обладающими большой социальной значимостью, я стремлюсь к тому, чтобы моя работа была важной для аудитории неспециалистов, и в то же время пытаюсь заинтересовать нескольких избранных моей сферой деятельности. Поэтому «полезность» моей работы для меня чрезвычайно важна и помимо непосредственных целей, связанных с конструированием своего CV.

2

Я закончила аспирантуру по культурной антропологии в Соединенных Штатах Америки (у меня британское гражданство, и мои студенческие годы прошли в Соединенном Королевстве). В Америке взаимоотношения между теоретической и прикладной традициями являются сложными и в известном смысле соревновательными. Истоки данной дисциплины лежат в реализации и представлениях о глобальной социальной справедливости. Современная американская антропология возникла в начале XX в. на фоне борьбы против расовой дискриминации и других форм социальной несправедливости. Социальная ангажированность заметна в работах тех, кто широко известен в качестве основателей и светил данной области знания (Франц Боас, Маргарет Мид), а также их менее известных коллег (ученых индейского происхождения вроде Вайна Делории, афроамериканских женщин-ученых, таких как Зора Нил Харстон, а также специалистов марксистского толка вроде Сола Такса).

Ситуация поменялась где-то в середине века с укреплением «классической парадигмы», позитивистской системы координат, следовавшей примеру естественных наук и покоившейся на идее объективности. Именно в это время возник зазор между теоретиче-

ским и прикладным; в то время как факультеты антропологии стремились вырастить чистую, объективную науку, прикладная антропология быстро развивалась благодаря институционализированным национальным и международным программам развития [Van Willigan 1986].

Эта парадигма была опрокинута в конце шестидесятых с возникновением постколониальных и феминистских исследований, а также исследований, посвященных ситуации тех, кто находится в подчиненном положении. Это поколение ученых твердило о важности изучения властных отношений; они настаивали, что антропологи обязаны признавать исторические, политические и экономические «связи» между культурами и народами, а также осевое значение колониальных и неоколониальных взаимоотношений [Wolf 1982]. Это научная критика заставила нас задуматься также о власти в ситуации исследовательского контакта.

Испытывавшая изначально воздействие эпистемологических вызовов феминистских исследований и изучения подчиненных групп «критическая» парадигма на сегодняшний день широко признана в рамках нашей науки [Burawoy, Verdery 1999; Clifford, Marcus 1986; Marcus, Fischer 1986]. Современные антропологи больше не описывают мир в терминах «культур» — особых, отделенных друг от друга, герметически запечатанных сущностей, существующих вне глобальных отношений власти. А кроме того, невозможно вычеркнуть нас самих из наших этнографических исследований; новая этнография требует, чтобы мы позиционировали самих себя, когда мы пишем о взаимоотношениях, возникающих в полевых условиях, а также учитывали властные отношения в полевой работе.

Между тем и это не лишено иронии: один элемент классической парадигмы все еще настойчиво заявляет о себе — разрыв между теоретическим и прикладным. Этот разрыв остается институционально оформленным в Соединенных Штатах; программы по антропологии стремятся к четкой демаркации; в то время как некоторые отчетливо идентифицируют себя в качестве «прикладных», многие отделения культурной антропологии воздерживаются от подобного обозначения и не педалируют практическую применимость своего знания. И действительно, один антрополог пожаловался на «общаакадемическое табу на социальное действие» в нашей науке [Sanday 2003: 5].

В последнее время предпринимались многочисленные попытки уничтожить этот разрыв. Призывы переосмыслить и переоценить роль антропологии, ее цели и значимость становятся за последние десять лет все настойчивее. Антропологи разрабо-

тали новые программы исследований и подходы под новыми названиями (см. недавние дискуссии в Соединенных Штатах о «публичной» антропологии [Borofsky 2000], антропологии, «интересной для общества» [Sanday 2003], «ангажированной» [Lamphere 2003] или «активистской» антропологии [Hale 2006; Lyon-Callo, Nyatt 2003]). Предлагая разные точки зрения и формулировки (для некоторых основной целью является выход к широкому читателю и служение общественным интересам, тогда как другие нацелены на конкретные социальные изменения или реализацию «активистских» программ), все они стремятся уничтожить этот разрыв. Я думаю, что эта новая тенденция подпитывается интересами, истоки которых лежат как внутри академического мира, так и за его пределами<sup>1</sup>. Например, недавние этические споры, вроде полемики по поводу яномами, подняли серьезные вопросы, касающиеся нашей науки<sup>2</sup>.

Между тем возобновившийся интерес к прикладной стороне дела связан и со сдвигами внутри поля и самой профессии. За последние десятилетия рынок труда претерпел значительные перемены: все меньше рабочих мест остается для растущего числа защитивших диссертации — факт, о котором я как преподаватель мучительно помню. В то же самое время открылись возможности для устройства вне академического мира — в негосударственных институтах: фондах, институтах развития, а также неправительственных организациях. По некоторым оценкам, сектор, представленный неправительственными организациями, вскоре может стать наиболее крупным работодателем для антропологов [Hackenberg, Hackenberg 2004].

Существуют, как я думаю, и другие факторы, способствующие этому вновь возникшему интересу к публичной антропологии. Размышляя об этом сдвиге последних лет, я пришла к выводу о том, что это связано с поколенческим моментом. Как я уже отмечала [Hemment 2007a], многих из нас, созревших в качестве антропологов в девяностые годы, эта наука привлекала критической мощью антропологической практики. Мы ощущали силу ее критических выводов, но хотели большего и пережива-

---

<sup>1</sup> Следует сказать также и об отсутствии консенсуса в данном случае, свидетельством чему является сопротивление со стороны как тех, кто давно занимается «прикладными» исследованиями [Singer 2000], так и тех, кто не согласен с тем, что антропология должна стать социально ангажированной. В недавней статье, опубликованной в "Anthropology News", бывший директор культурной программы Национального научного фонда Стюарт Плеттнер полагает, что это опасный путь к «социально ориентированной работе» [Plattner 2002].

<sup>2</sup> Стимулом полемики по поводу яномами стала "Darkness in El Dorado" журналиста Патрика Тирни, который обвинил известного антрополога Наполеона Шанона в соучастии в нарушении прав человека, жертвами чего стали индейцы яномами. Подробнее о дискуссии и о тех последствиях, которое это дело получило в антропологии, см.: [Borofsky 2005].



ли разочарование из-за того, что антропологии не удалось выработать рекомендаций для того, чтобы улучшить практику. К этому разочарованию добавлялись те формы несправедливости и насилия, с которыми мы сталкивались в наших этнографических исследованиях.

Стимулом для многих антропологов (это верно в отношении как меня, так и большинства моих студентов) является историческая миссия антропологии, заключающаяся в установлении социальной справедливости. Мы признаем, что исторически антропология выступала сообщницей колониального доминирования, но мы находимся под властью ее обещания разоблачить это и бросить вызов отношениям неравенства и формам системного насилия. Нередко мы делаем выбор в пользу работы с маргинальными и неимущими слоями. Когда мы документируем формы неинтегрированности, с которыми сталкиваются эти люди, и пытаемся их понять, у нас появляется вкус к тому, что я называю «критика плюс» — стремление к ангажированности, которое не забывает ни на минуту о важных концепциях критической этнографии и целях культурной критики, но позволяет идти дальше деконструкции, чтобы заниматься совместными проектами ради социальных перемен [Nemment 2007a].

Чувствуя некоторую подозрительность по отношению к недавним дискуссиям, особенно по поводу продолжающегося навешивания ярлыков (иногда это напоминает гангстерскую войну между учеными, которые состязаются в том, чтобы быть более значимыми и ангажированными, чем все остальные!), я причисляю себя к тем антропологам, которые стремятся снять этот разрыв и выстроить своего рода социально ангажированную практику. Мне весьма повезло обрести свой дом на факультете, где разделяют эту идею и ценят этот подход. Коллеги по факультету — представляющие четыре направления данной дисциплины: археологию, физическую, лингвистическую и культурную антропологию — стремятся к публичной антропологии, служащей делу социальной справедливости.

Следует добавить, что эти внутродисциплинарные разговоры обладают характером полемик и само значение «применимости» является предметом спора. Недавнее участие некоторых антропологов в программе “Human Terrain System”, инициированной американской армией в Ираке, смешало все карты в вопросе о практической применимости. Последовавшие за этим дебаты и критический пересмотр антропологами своих собственных позиций привели к формированию Сети заинтересованных антропологов (Network of Concerned Anthropologists, NCA), независимого специального сообщества, включаю-

щего целый ряд видных антропологов, работающих в США. Данная сеть не отвергает прикладную антропологию как таковую, но задает вопросы о том, какой тип практического применения актуален для антропологов, стремящихся к тому, чтобы сделать практику более этически ориентированной<sup>1</sup>. Многие антропологи (как и другие живущие в США ученые) глубоко обеспокоены распространением корпоративной логики внутри академического мира, а также заметно более высокой оценкой выгоды по сравнению с мыслью или наукой (некоторые называют этот ряд тенденций «корпоративизацией академического мира»). Истоком многих дискуссий является беспокойство по поводу хрупкого статуса общественного высшего образования, но они касаются и тех сил, которые влияют на исследовательскую повестку дня, т.е. они выражают обеспокоенность по поводу практической применимости науки в корпоративных интересах.

Как же эта приверженность идее практической применимости сказывается на моих исследованиях? Интерес к формам прикладной антропологии подпитывался у меня отчасти тем, что я училась в середине девяностых годов, а также научными дискуссиями, в которых я участвовала. Однако на него влияли и противоречия поля, а также тема, которой я занималась. Темой моей докторской диссертации, работу над которой я начала в середине девяностых годов, стал обладавший международной поддержкой процесс демократизации в России. Особенно меня интересовали инициативы поддержки женских групп, являвшиеся частью более широкого проекта, который должен был помочь развитию гражданского общества.

Ученые из США и Западной Европы в больших количествах приезжали в постсоветскую Россию для того, чтобы задокументировать и проанализировать социальные последствия так называемого переходного периода. Как антрополога меня интересовали культурные процессы, связанные с этими явлениями. Я пыталась исследовать реакцию на разворачивающиеся процессы развития, проанализировав реакции россиян. Особо меня интересовали отношения международных организаций с женскими группами, а также то, как российские женщины осмыслили западные феминистские курсы и модели, которые приносили с собой эти организации.

---

<sup>1</sup> Группа выпустила коллективно написанную книгу "The Counter-Counter Insurgency Manual" (Prickly Paradigm Press, 2009); данный памфлет, поданный как ответ на опубликованный американской армией и военно-морскими силами в 2006 г. "Counterinsurgency Field Manual", включает предисловие ведущего американского антрополога Маршалла Салинза. См. также сайт группы <<http://sites.google.com/site/concernedanthropologists/>>.

По мере наблюдений я начинала понимать, что «демократизирующие» вторжения, вроде программ, содействующих правам женщин, тесно связаны с мучительной политико-экономической ситуацией. Неправительственные организации, гражданское общество и его права, права женщин, социальный капитал поддерживались и стимулировались в то самое время, когда происходила резкая реструктуризация экономики. «Шоковая терапия» по рецепту советников МВФ и международных кредиторов привела к сокращению государственной экономики, демонтажу системы социального обеспечения, а также нехваткам в системе медицинского обеспечения, что поставило население в ситуацию борьбы с безработицей, гиперинфляцией и расходами на медицину без системы социальных гарантий. Еще более досадным было то, что эти драконовские меры поддерживались некоторыми из тех самых организаций, которые поддерживали проекты за права женщин.

Таким образом, здесь были некоторые серьезные структурные противоречия. Кроме того, мое первичное этнографическое исследование позволило мне увидеть фрустрацию россиян, которые были получателями помощи западных организаций. Нередко бывало так, что американские и западно-европейские советники и эксперты никогда не жили в России и не специализировались по ней, но неохотно консультировались у своих советских коллег [Bruno 1997; Rivkin-Fish 2005; Sampson 1996; Wedel 1998]. Несмотря на риторическую приверженность совместной работе с российскими «партнерскими» организациями, программа действий выработывалась за пределами России — в Женеве или Вашингтоне — и нередко не учитывала местную специфику. Многие активные феминистки, с которыми я беседовала в середине и конце 1990-х гг., высказывали неудовлетворенность международными семинарами и учебными программами, которые они посещали. Рабочие концепты принадлежали другим контекстам, нередко использовались для развивающихся стран, что оскорбляло многих россиян (см. также: [Patico 2008]).

По мере того как я готовилась к полевой работе, мой проект превращался в критическое исследование демократизации. Как и у других исследователей постколониализма, работавших в 1990-е гг., моя задача заключалась в том, чтобы проблематизировать концепты и технологии, поддерживавшие международное участие в делах постсоциалистических стран, а также привлечь внимание к моментам нестыковки и разобщенности в той точке, где происходило восприятие привнесенного с Запада, высветить разрыв между публичной риторикой и реаль-

ными результатами<sup>1</sup>. Иными словами, я была привержена проекту культурной критики.

Однако у меня был и другой интерес, который диктовался рефлексивным императивом критического этнографического проекта: когда я обдумывала схему моего исследования, вопрос «как» стал звучать все громче и громче. Когда объектом исследования является «западное» или международное участие в российских делах, как должна себя позиционировать я — британка, получившая образование и работающая в США? Как мне избежать воспроизведения тех же самых схем в моей собственной исследовательской практике?

Не лишено иронии то, что, как я обнаружила, антропология предлагает лишь небольшое количество ответов на этот методологический вопрос. Кончилось тем, что я стала использовать инструментарий «совместно проводимых исследований» (Participatory Action Research, PAR). Данная методика является откровенно «прикладной» — это методология социального изменения, корни которой лежат в популярных движениях развивающихся стран. Она нацелена на то, чтобы внести в исследование момент равенства и совместной работы. Многократно описанная как метод, стиль или философия [Fals Borda, Rahman 1991: 16], идея совместно проводимых исследований возникла как прямой вызов одновременно логике общепринятой социальной науки и инициативам по развитию, предпринимаемым властями [Freire 1970].

Фундаментальный принцип в данном случае заключается в том, чтобы вовлечь представителей местного сообщества (обычный предмет исследования) в качестве партнеров в исследовательские проекты, представляющие взаимный интерес. Поскольку я планировала присоединиться к одной из женских групп (феминистской группе «Женский Свет» при университете в провинциальной Твери), этот подход был вполне осмысленным и казался реализуемым. В самом деле, это представляло интерес для основателя группы Валентины Успенской, которая предложила мне пожить вместе с группой и преподавать в университете во время моей полевой работы.

Так я стала участвовать в жизни представителей «Женского Света». В 1997–1998 гг., живя в Твери, я посещала собрания группы и знакомилась с работавшими в ней женщинами, участ-

---

<sup>1</sup> Антропологи с готовностью включались в дискуссии о демократизации и проблематике переходного периода. Они поднимали критические вопросы по поводу этих процессов и ставили под сомнение их основания, а также их часто незапланированные последствия [Borneman 1998; Gal, Kligman 2000; Sampson 1996; Verdery 1996; Wedel 1998]. Многие из нас изучают неправительственные организации, созданные международными агентствами.

вужа совместно с ними в повседневной жизни. После шести месяцев включенного наблюдения практический «прикладной» проект обрел свою форму: создание в городе женского кризисного центра для жертв сексуального и домашнего насилия (более подробно см.: [Hemment 2004; 2007b]).

Нужно добавить, что в этом случае «практическое применение» заключалось не просто в реализации проекта (создание неправительственной организации); столь же, если не более важными были диалог и процесс, в который была вовлечена группа и который привел к созданию центра. Процесс работы над нашим исследованием стал дискурсивным пространством, где мы ставили вопросы о терминах и моделях, которые предлагали фонды и организации. Женщины были настроены критически по отношению к некоторым процессам, которые разворачивались на их глазах, а именно — к формализации сферы неправительственных организаций. Волновало их и то, что организации отнюдь не обязательно осознают проблемы, которые они сами считали наиболее важными на местном уровне. Тем не менее они решили начать и работать с международными организациями для того, чтобы реализовать более формализованный проект. Несмотря на все потенциальные проблемы, члены группы считали, что этот проект является наилучшим способом продолжать свою работу и добиваться своих целей. Они рассматривали модель кризисного центра как ресурс, который они могли менять и приспосабливать к своему пониманию местных проблем.

Подобно другим специалистам [Lyon-Callo 2004; Lyon-Callo, Nyatt 2003], я вовлеклась в работу над практически ориентированным исследованием, когда антропологи предлагают свои критические соображения и анализ людям, с которыми они вместе существуют в ситуации поля. Как пишут упомянутые авторы, «благодаря долгосрочному сотрудничеству с местными активистами, ангажированные исследователи могут способствовать созданию пространства для реализации новой внутренней политики, новых типов субъектности, а также возникновения новых политических возможностей за пределами того, что создают для нас глобальная экономика и ее неолиберальные воплощения» [Lyon-Callo, Nyatt 2003: 177].

Та же самая приверженность ангажированности и то же самое представление о ней лежат в основе моего нынешнего исследовательского проекта, предпринятого вместе с теми же самыми российскими учеными и общественными деятелями. С 2005 г. мы вместе работаем над совместным исследовательским проектом, посвященным российской молодежной политике, причём в центре проекта — недавние государственные инициати-

вы, цель которых заключается в поощрении волонтерства среди молодежи. Проводимый на базе университета, проект привлекает студентов в качестве соисследователей. Целью проекта является выстраивание диалога между молодыми людьми, которые обладают разными степенями вовлеченности в деятельность молодежных организаций, которые мы изучаем (активистами, случайными участниками), с теми, кто не связан с этими организациями. Создав контакт между актерами разного типа и разными типами знания, мы создаем новое пространство для диалога. Это порождает исследовательское сообщество среди молодых россиян и облегчает критический разговор о власти, ответственности и гражданстве.

Тема нашего исследования интересна как для студентов, так и для их преподавателей. В то же самое время проект открывает пути для обучения студентов. Студенты оказываются вовлеченными в разные формы гражданской активности, благодаря чему у них одновременно появляется возможность заняться практической подготовкой и теоретически поразмышлять об актуальных процессах.

**3**

Существует целый ряд возможных ответов на ваш вопрос. Поскольку мой интерес к прикладным исследованиям существует независимо от поручений неправительственных организаций — хотя они на него и повлияли — я не отшатнусь сразу же, как это делают некоторые, перед упором на «практическую применимость». Очевидно, однако, что необходимо быть осторожным.

Может показаться, что этот вопрос указывает на новизну данной тенденции. Я бы поспорила с этим. Язык «воздействия» в известном смысле нов, и истоком его является корпоративный мир, между тем на академические исследования всегда оказывали влияние те, кто давал на них деньги. Исследовательская работа всегда осуществляется в пространстве, структурированном властью, управляемом типами финансирования, а также стратегическими целями финансирующих науку правительств; невозможно сделать исключение для научной беспристрастности. «Воздействие» на сегодняшний день указывает на нежелательное доминирующее положение корпоративных принципов по отношению к науке; в середине века это указывало на нечто другое. Классическая парадигма, о которой я говорила ранее и которая формировала привычный тип академического и прикладного исследования до 1960-х гг., сама по себе была продуктом холодной войны [Wolf 1982]. Она многим обязана стратегическим целям США в данный период, целям того, что Прайс называет «государством национальной безопасности», стремившимся обезвредить местные вызовы,

поддерживая статус кво, и неблагосклонно смотревшим на ученых, занятых внутриполитической борьбой [Price 2004].

Конечно, тем из нас, кто работал в бывшем Советском Союзе и странах Варшавского блока, особенно понятна эта проблема. Для того чтобы получать финансирование, ты должен был по крайней мере признавать стратегические проблемы текущего дня. Поскольку мой нынешний исследовательский проект обращен к вызывающему споры объекту (наше исследование государственной молодежной политики включает анализ прокремлевского молодежного движения «Наши»), меня очень интересует его влияние на американские политические круги. Я хочу дать сложный портрет организации и ее участников, репрезентацию, которая не просто укрепит стереотипы холодной войны по поводу этой организации и России вообще как неизменно авторитарной и т.д. Это тонкое дело.

Важно задать вопрос о том, «влияние» какого типа интересует международные организации. Я уже писала о чувствительности по поводу корпоративизации академического мира; я разделяю это беспокойство. Однако исходя из моего собственного опыта поисков внешнего финансирования (у таких американских организаций, как Совет по исследованиям в области социальных наук (Social Science Research Council), Национальный научный фонд (National Science Foundation), а также Совет по международным исследованиям и обменам (IREX)) могу сказать, что обсуждаемый тип «влияния» нередко является именно тем, который я поддерживаю. «Влияние» часто оказывается связанным с прогрессивными целями и устремлениями — с желанием работать ради более совершенной социальной интеграции, ради того, чтобы сделать академический мир более открытым для женщин, меньшинств и неимущих, поддерживать «многообразие» и т.д. Этот факт свидетельствует о проницаемости данного пространства (у представителей организаций нередко есть докторские степени по социологии). Так что здесь есть пространство для социально ориентированных проектов, вроде тех, о которых я говорила.

Конечно, следующим вопросом будет — что случится, когда эти прогрессивные цели станут институционализированными и обеспеченными грантами и финансированием? Мой ранний исследовательский проект стал для меня предупреждением о некоторых проблемах, возникающих в данном случае. Я видела, как эти концепты могут лишаться смысла, становясь не более чем пустыми лозунгами. Это смысловое опустошение, несомненно, происходит в случае феминистски ориентированных кампаний, которые поддерживались международными институтами развития в 1990-е гг.; это многие отмечали



[Snitow 1999; Hemment 2007b; Rivkin-Fish 2005; Mohanty 2003; Urciuoli 2005].

Несмотря на искреннее желание конкретных представителей неправительственных организаций реализовать позитивные социальные перемены, на их деятельность оказывают влияние обстоятельства, в которых они работают: грантовые сроки, проблемы управления, а также общая логика, в рамках которой разворачивается эта деятельность. Более того, финансирование является краткосрочным и непостоянным. Социальные проблемы могут быть сложными и глубоко укорененными, но от активистов и общественных групп требуют, чтобы они переадресовывали, переориентировали свою деятельность с головокружительной быстротой и частотой.

Примером, свидетелем которого я была во время работы над моим ранним проектом, является сдвиг в деятельности неправительственных организаций — от поддержки кампаний против домашнего насилия к кампаниям против продажи в сексуальное рабство. От работников нашего кризисного центра требовали сместить акценты, чтобы продолжать получать поддержку, несмотря на тот факт, что многие из них чувствовали, что данная проблема находится вне их компетенции [Hement 2004]. Я думаю, что эти примеры являются для нас как для исследователей поучительными.

Независимо от источника финансирования, от того, является ли человек исследователем или практиком, вызов остается тем же самым: найти способ получения ресурсов, оставаясь при этом верным целям и приоритетам своей собственной работы. Это то, с чем нам, как я полагаю, приходится иметь дело. В обоих совместных проектах, о которых я говорила, я стремилась стратегически использовать ресурсы, полученные от организаций, чтобы решать наши задачи (мои и моих партнеров). В рамках нынешнего проекта мы делаем это по-другому (исследовательская часть проекта в значительной степени осталась непрофинансированной). Поддержанный Национальным научным фондом, проект представляет собой в гораздо большей степени «научное» сотрудничество, в рамках которого я оказываюсь «основным исследователем», а мои коллеги — «консультантами». Это новая конфигурация, выстроенная для того, чтобы соответствовать времени. По целому ряду причин мои коллеги, гражданские активисты, являются на сегодняшний день более основательно укорененными в университете, чем это было ранее, а их работа фокусируется вокруг Центра гендерных исследований (институционализированный проект, возникший из неформальной группы «Женский Свет» в 1999 г.). Центр получал финансовую поддержку Фонда Фор-



да в 1999–2004 гг.; однако на сегодняшний день его положение является менее устойчивым. Между тем ряд федеральных реформ в области образования означает, что у студентов оказывается меньше возможностей заниматься профессиональными исследованиями и практикой. Этот получивший финансирование совместный проект дает скромные средства моим коллегам, а также возможности для проведения исследований и подготовки студентов. Не менее важно, что он оказывается возможностью для интеллектуального сотрудничества, солидарности и дружбы. Он облегчает возможности диалога, который, как мне кажется, приносит удовлетворение и пользу как одной, так и другой стороне.

### Библиография

- Borneman J.* Subversions of International Order. Albany: State University of New York Press, 1998.
- Borofsky R.* Public Anthropology: Where To? What Next? // *Anthropology News*. 2000. Vol. 45. No. 5. P. 9–10.
- Borofsky R.* Yanomami: The Fierce Controversy and What We Can Learn from it. Berkeley: University of California Press, 2005.
- Bruno M.* Playing the Co-operation Game // S. Bridger, F. Pine (eds.) *Surviving Post-Socialism: Local Strategies and Regional Responses in Eastern Europe*. L.: Routledge, 1997.
- Burawoy M., Verdery K.* Introduction // M. Burawoy, K. Verdery (eds.) *Uncertain Transition: Ethnographies of Change in the Postsocialist World*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1999. P. 1–17.
- Clifford J., Marcus G.* Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography. Berkeley: University of California Press, 1986.
- Fals-Borda O., Rahman M.A.* Action and Knowledge: Breaking the Monopoly with Participatory Action Research. NY: Apex Press, 1991.
- Freire P.* The Pedagogy of the Oppressed / M.B. Ramos, transl. NY: Herder, 1970.
- Gal S., Kligman G.* The Politics of Gender after Socialism. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Hackenberg R.A., Hackenberg B.H.* Notes Toward a New Future: Applied Anthropology in Century XXI // *Human Organization*. 2004. Vol. 63. No. 4. P. 385–399.
- Hale Ch.* Activist Research v. Cultural Critique: Indigenous Land Rights and the Contradictions of Politically Engaged Anthropology // *Cultural Anthropology*. 2006. Vol. 21. No. 1. P. 96–120.
- Hemment J.* Global Civil Society and the Local Costs of Belonging: Defining “Violence Against Women” in Russia // *Signs: Journal of Women in Culture and Society*. 2004. Vol. 29. No. 3. P. 815–840.
- Hemment J.* Public Anthropology and the Paradoxes of Participation: Participatory Action Research and Critical Ethnography in Provincial Russia // *Human Organization*. 2007a. Vol. 66. No. 3. P. 312–324.

- Hement J.* Empowering Women in Russia: Activism, Aid and NGOs. Bloomington: Indiana University Press, 2007b.
- Lamphere L.* The Perils and Prospects for an Engaged Anthropology. A View from the United States // *Social Anthropology*. 2003. Vol. 11. No. 2. P. 153–168.
- Lyon-Callo V.* Inequality, Poverty, And Neoliberal Governance: Activist Ethnography in the Homeless Sheltering Industry. Orchard Park: Broadview Press, 2004.
- Lyon-Callo V., Hyatt S.B.* Introduction: Anthropology and Political Engagement // *Urban Anthropology*. Vol. 32. No. 2. P. 133–146.
- Marcus G., Fischer M.* Anthropology as Cultural Critique: an experimental moment in the Human Sciences. Chicago: University of Chicago Press, 1986.
- Mohanty Ch.* Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity. Durham; L.: Duke University Press, 2003.
- Patino J.* Consumption and Social Change in a Post-Soviet Middle Class. Stanford University and Woodrow Wilson Press, 2008.
- Plattner S.* Anthropology as Social work: Collaborative models of anthropological research // *Anthropology News*. 2002. Vol. 43. No. 8. P. 4.
- Price D.* Threatening Anthropology: McCarthyism and the FBI's Surveillance of Activist Anthropologists. Durham; L.: Duke University Press, 2004.
- Rivkin-Fish M.* Women's Health in Post-Soviet Russia: The Politics of Intervention. Indiana: Indiana University Press, 2005.
- Sanday P.R.* Public Interest Anthropology: A Model for Engaged Social Science. Paper delivered to the SAR Workshop. Chicago, 2003.
- Sampson S.* The Social Life of Projects: Importing Civil Society to Albania // C. Hann, E. Dunn (eds.). *Civil Society: Challenging Western Models*. L.: Routledge, 1996. P. 121–142.
- Singer M.* Why I Am Not a Public Anthropologist // *Anthropology News*. 2000. September. P. 6–7.
- Snitow A.* Cautionary Tales // *Proceedings of the 93rd Annual Meetings of the American Society of International Law*. 1999. P. 35–42.
- Urciuoli B.* Team Diversity: An Ethnography of Institutional Values // A. Meneley, D.J. Young (eds.). *Auto-Ethnographies: the anthropology of academic practices*. Ontario: Broadview Press, 2006. P. 159–172.
- Van Willigan J.* Applied Anthropology: an Introduction. L.: Bergin & Garvey Publishers, Inc, 1986.
- Verdery K.* What Was Socialism, and What Comes Next? Princeton: Princeton University Press, 1996.
- Wedel J.* Collision and Collusion: The Strange Case of Western Aid to Eastern Europe 1989–1998. NY: St. Martin's Press, 1998.
- Wolf E.* Europe and the People Without History. Berkeley: University of California Press, 1982.

*Пер. с англ. Аркадия Блюмбаума*

## ТАТЬЯНА ЧЕРНИГОВСКАЯ

1

Наука — настолько интересное, детективное занятие, что меня давно уже удивляет, почему этим не занимаются вообще все. Уж по крайней мере все должны *хотеть* этим заниматься... Область моих знаний указывает все более отчетливо на то, что предназначение человека в мире — познание. Зачем понадобилось это Природе — ума не приложу, но все усилия эволюции были направлены на формирование сложнейшей нейронной сети (в человеческом мозгу 15 квадриллионов связей! Это больше, чем частиц во Вселенной...), и роль всего этого — быть «зеркалом» природе (“Give me the glass, and therein will I read” (W. Shakespeare. Richard II. Act 4, Scene 1)). Это я неоднократно объясняла как студентам, так и широкой аудитории — в статьях, интервью и телепередачах. И я считаю, что такие объяснения необходимы, иначе сбудется то, что давно уже прогнозировали: общество потеряет интерес к науке окончательно, и налогоплательщики перестанут ее финансировать, считая бессмысленным оплачивать игрушки высоколобых... Мало того, — думает обыватель, — охотясь за бозоном Хиггса, не нарыли бы они нам из Церна черных дыр... Или вот клонировать вздумают кого попало, или в гены нам влезут и историческую память сотрут...

2

Фарадей, занимаясь вполне отвлеченными вещами, ни секунды, я полагаю, не думал о том, какую практическую пользу из этого можно извлечь. Чем это кончилось, мы знаем. Тем более о прикладных аспектах науки не размышляют «Перельманы». Что не отменяет абсолютной ценности «высокой науки», которая в итоге часто дает и практические плоды.

Татьяна Владимировна  
Черниговская  
Санкт-Петербургский  
государственный университет  
tatiana.chernigovskaya@gmail.com

В моей области фундаментальные знания имеют и бесспорный прикладной аспект — для медицины, педагогики, создания си-

стем искусственного интеллекта. Но это не значит, что, формулируя научную задачу, мы должны ориентироваться на прикладные следствия. Знание самоценно.

3

Я надеюсь, что все маски мне к лицу... Во всяком случае, я все их ношу.

4

Сама система грантов — вероятно, лучший из известных сейчас способов финансирования исследований. Так работает весь мир. Другой вопрос — кто и исходя из каких соображений определяет векторы предпочтений, так называемые приоритетные направления развития науки в конкретное время. К примеру, вряд ли египтология или исследование поэзии шумеров могут претендовать на особое место в народном хозяйстве, но недалек день, когда в России (а возможно, и в мире) не останется людей, способных прочесть древние тексты на этих языках, а значит, мы попросту потеряем целые цивилизации! Ну а размеры / суммы грантов просто оскорбительны. Например, научные школы оцениваются в 500 000 рублей в год на целый коллектив! Щедро, не правда ли?..

5

Приходится признать, что в России общая культура и рефлексия по поводу роли науки в обществе гораздо менее развита. Подозреваю, что несметные тысячи менеджеров предпочтут обеспечить мир, согласие и процветание своих компаний, позвав шамана или батюшку, а не обратившись к специалистам. Умом Россию не понять, как давно известно...

## ВИКТОР ШНИРЕЛЬМАН

1

Моя научная карьера сложилась так, что я всегда мог заниматься именно тем, что мне было интересно. Правда, в советское время я занимался сугубо «научными» проблемами, связанными с историей первобытного общества. Все это было весьма далеко от насущных интересов советского человека и предназначалось для узкого круга ученых. Впрочем, в силу сложившихся цеховых барьеров к трудам, созданным в рамках моего сектора, мало кто обращался: этнографам это было не нужно, ибо они занимались традиционными культурами; а археологи полагали, что они сами хорошо

**Виктор Александрович Шнирельман**  
Институт этнологии  
и антропологии РАН,  
Москва  
shnirv@mail.ru

знают и понимают историю первобытного общества. Наши труды имели некоторый спрос в вузах, где история первобытного общества тогда была учебной дисциплиной и студентам-историкам ее полагалось знать. При этом я и до сих пор убежден, что мы делали очень полезную работу: именно мы тогда пытались создавать общую теорию, объясняющую, как функционируют традиционные общества и как и почему в них происходят изменения.

Однако многие тогда полагали, что Маркс и Энгельс уже все объяснили и других объяснений не требуется. Мало того, в те годы в республиках уже вызревали националистические настроения, требовавшие доказывать, что едва ли не все достижения цивилизации создавались предками на месте. Поэтому, если я в своих книгах, основываясь на многочисленных биологических, палеоклиматических и археологических данных, показывал очаговой характер возникновения земледелия и скотоводства, то это плохо воспринималось, ибо во многих южных республиках принято было считать, что земледелие и скотоводство (или только скотоводство) складывались там самостоятельно, независимо от внешних импульсов. Кстати, такие утверждения и до сих пор встречаются в местных учебниках. Так что вне зависимости от популярности изложения иное знание мало кому требовалось.

Поэтому в постсоветское время мне стало любопытно, что же именно интересует публику, какие знания там востребованы, кто именно и зачем производит эти знания и как они соотносятся с научными. В результате я с неизбежностью окупился в проблематику, связанную с национализмом и социальной памятью. Мне казалось, что такие животрепещущие сюжеты, касающиеся гжучих вопросов современности, должны интересовать как специалистов, так и самую широкую публику. Поэтому я в первую очередь занялся вопросами интерпретации прошлого именно в тех регионах (Среднее Поволжье, Южный и Северный Кавказ), где виртуальные битвы за историю нередко перерастали в кровавые битвы за территорию и суверенитет.

Чтобы не быть обвиненным в симпатиях к какой-либо одной из сторон, я сделал ставку на широкие сравнительные исследования. Идея заключалась в том, чтобы показать, что независимо от местной специфики националистический миф о прошлом везде строится практически по единой схеме. Это приводит к тому, что у соседних народов складываются несовместимые образы одной и той же истории, основанной практически на одних и тех же исторических источниках. Происходит это потому, что на интерпретацию таких источников неизбежно

большое влияние оказывают привходящие факторы, связанные с национальной идеей и ее политическими следствиями. Причем эти факторы воздействуют не только на широкую публику, но и на самих ученых. Мне представлялось, что демонстрация таких механизмов заставит многих задуматься и посмотреть критически на особенности национальных историй, создающихся практически на всем постсоветском пространстве. Я надеялся, что, увидев, к чему все это ведет, ученые начнут строже относиться к своим построениям.

Но получилось иначе. Похоже, мои книги, посвященные исторической памяти, произвели эффект «шоковой терапии». Их сторонились, и мало кто из специалистов ими заинтересовался. А кто-то однажды заметил, что они «широко известны в узких кругах». Впрочем, их читают в тех республиках, о которых там идет речь. Но как читают! Вопреки моему акценту на широкие сравнительные исследования читатели пропускают очень важные для понимания введение и заключение и обычно выбирают только то, что касается их собственного народа и их соседей, с которыми они находятся в конфликте. Причем обычно им нравится то, что я пишу об особенностях национальной историографии их соседей, и не нравится то, что у меня написано об их собственной историографии.

Получается, что единой истины нет — у каждого народа своя истина и соответственно свое представление о том, что и как происходило в прошлом. И, идя навстречу интересам публики и местных политиков, ученые продолжают выстраивать национальные мифы. Деконструкция таких мифов вызывает только озлобление, а вовсе не отрезвление.

Поэтому дело не в абстрактной «нужности и полезности» работы и даже не в популярном стиле изложения (пишу я достаточно простым языком и, как мне кажется, всегда объясняю суть своих исследований). Проблема в этноцентризме, который поразил все постсоветские общества без исключения. Я убежден, что с научной, политической и гражданской точек зрения мои работы должны быть востребованы. Однако они не отвечают ожиданиям многих читателей, уже привыкших жить в мифе. И покушение на этот миф чревато серьезными последствиями. К сожалению, среди таких читателей, на удивление, иной раз оказываются даже ученые, которые, казалось бы, должны испытывать склонность к рефлексии. А другие ученые, интересующиеся социальной памятью, пишут о чем угодно — об античности, средневековье, Франции, Китае и т.д., — но только не о России. Ведь затрагивать такую тему на материалах своей страны оказывается небезопасным.

2

Мои исследования почти всегда оказывались на стыке наук, так что мне трудно проводить какие-то деления. Впрочем, в гуманитарной области сегодня границы между науками стираются. Порой трудно сказать, где кончается социология и начинается социальная антропология, где кончается лингвистика и начинается этнолингвистика. В моей области в советское время многие специалисты всячески избегали теории, ибо помнили, что для их предшественников или современников занятия теорией заканчивались в местах не столь отдаленных. Тем не менее в Институте этнографии были попытки создавать теоретические отделы или группы.

Одним из таких подразделений и являлся сектор по изучению первобытной истории, где началась моя карьера. Думаю, это был достаточно удачный опыт. И не наша вина, что «высокая наука», похоже, не имела большого спроса. У многих советских ученых теория ассоциировалась с официальным марксизмом-ленинизмом и вызывала отторжение. Эти установки они принесли с собой и в постсоветскую эпоху. Поэтому вопрос о «поколенческих предпочтениях» поставлен совершенно правильно.

У современного молодого поколения уже нет таких предубеждений. Но есть другое. Прервалась преемственность, которая чрезвычайно важна для науки. Отвергнув марксизм-ленинизм (а это и было главной теорией в советское время), постсоветские ученые не создали ничего равноценного ему. Образовалась зияющая дыра, и все приходится создавать заново. Парадокс заключается в том, что в советское время марксизм-ленинизм, во-первых, был неоднороден (наряду с официальным существовали иные его версии, более соответствовавшие научному знанию), во-вторых, допускалось развитие теоретических подходов, в особенности в тех областях, которые были плохо известны или вовсе не существовали в период жизни классиков. Одной из таких областей и была история первобытного общества, позволявшая всевозможные теоретические эксперименты, способствующие лучшему пониманию особенностей функционирования традиционных обществ и культур, а следовательно, и культуры вообще.

Однако, как я уже отметил, это не было тогда востребовано. А в постсоветское время все это вовсе было отброшено вместе с официальным марксизмом-ленинизмом. Как говорится, с мыльной водой выплеснули и ребенка. Между тем легче, отталкиваясь от плохой теории, создавать хорошую, чем выстраивать все заново на пустом месте.

Что касается той проблематики, которой я занимаюсь сегодня, то я не склонен проводить строгую границу между теоретическими и прикладными исследованиями. Разумеется, именно

прикладное исследование дает первичный материал, способный лечь в основу теоретических обобщений. Однако уже от самого исследователя зависит, закончит ли он свою работу простым изложением такого материала или сам попытается создать на его основе теорию. Занимаясь актуальной современной тематикой, я, разумеется, занимаюсь и прикладными исследованиями, но ограничивать себя ими мне просто неинтересно. Поэтому свою задачу я всегда вижу в том, чтобы превратить результаты прикладных исследований в те или иные теоретические выводы и обобщения. Насколько мне это удастся, судить читателю. Но мне кажется, что каждый исследователь должен не занижать, а завышать планку. Только тогда занятие наукой становится действительно интересным, и только тогда можно чего-то реально достичь. Между тем развитие теоретической мысли происходит у нас с большим трудом. В моей области мне известно очень немного работ, которые могут претендовать на статус теории.

**3**

Вопрос о «практической значимости» исследования, простой на первый взгляд, очень не прост по сути. На счастье, в контексте формальной документации он относится к категории формальных вопросов, на которые допускается вполне формальный ответ, суть которого мало влияет на оценку работы. Все понимают, что вопроса такого рода требуют правила игры. Так к нему и относятся. Ведь в нашей области внедрение результатов исследований в практику практически от нас не зависит, если только речь не идет о работе по специальному заказу, исходящему от властных структур. Впрочем, даже в этом случае нередко бывает так, что и чиновник заказывает исследование для того лишь, чтобы отчитаться в том, что работа ведется. Ведь он вовсе не склонен брать на себя инициативу и внедрять что-либо, исходящее от ученых и не утвержденное вышестоящими инстанциями.

Гораздо интереснее другой вопрос, то и дело фигурирующий в заявках на международные гранты. Речь идет о том, «как результаты вашего исследования скажутся на вашей карьере». Этот вопрос, вполне разумный в западном контексте, плохо работает у нас, ибо в силу сложившейся практики карьера ученого у нас вовсе не (или очень слабо) зависит от его научных достижений или научной компетенции.

Тем не менее, когда сегодня я пишу о ксенофобии, расизме, скинхедах и пр., я обращаюсь к обществу и рассчитываю, что рано или поздно знания об этих позорных явлениях будут востребованы и окажут позитивное влияние на состояние нашего общества, будут способствовать их преодолению. Мне кажется, что в своей области ученый должен стремиться выглядеть



4

знатоком и экспертом. Только тогда добытые им новые знания способны получить спрос.

С тех пор как я начал подавать заявки на гранты, у меня сохраняется постоянное чувство, что современная система грантов несовершенна. Речь идет прежде всего о возможности безотлагательного озвучивания новых идей или изложения новых подходов, не ожидая годами получения гранта и соответствующей финансовой поддержки. Например, я работаю одновременно по нескольким разным направлениям и постоянно собираю нужные для этого материалы. Затем приходит момент, когда я понимаю, что собранные материалы позволяют сформулировать некоторые нетривиальные идеи или разработать новые подходы. И я могу сделать это тотчас же. Но существующая практика требует, чтобы я подал заявку к определенному (и порой неблизкому) сроку, затем ждал результатов конкурса (и не факт, что моя заявка проходит), а затем в течение нескольких месяцев или года проводил исследование. Что же касается публикации результатов, то из-за нерасторопности издательской деятельности все это растягивается на достаточно длительный срок. Тем самым актуальность выводов может значительно снизиться (если речь идет об исследовании актуальной тематики). И это в то время как я готов уже сегодня поделиться результатами своих исследований с коллегами и обществом. Поэтому нередко я публикую такого рода работы без всяких грантов.

Хотелось бы развеять еще один миф о международных грантах, который сложился в нашем обществе в силу некомпетентных высказываний некоторых высоких чиновников. Международных фондов много, и степень специализации их различна. Сам ученый исходя из своих научных интересов может и должен выбирать, куда именно подавать заявку. Многие именно так и поступают. При этом основные международные фонды поддерживают очень широкий спектр самых разных направлений исследования. Поэтому вовсе не фонд определяет тематику, за которой якобы «охотятся» голодные ученые, «выпрашивающие» финансовую поддержку. И ученые проводят свои исследования вовсе не для того, чтобы удовлетворить запросы того или иного фонда. Мало того, фонд нередко указывает, что не несет ответственности за полученные ученым выводы. Поэтому связь здесь прямо противоположная: инициатива исходит от ученого, а не от фонда. Именно ученый, заинтересованный в той или иной тематике, ищет соответствующий фонд, где такая тематика может найти поддержку.

Впрочем, многое зависит от самих ученых — кому-то важна его (ее) собственная тематика, просто потому, что она представляет интерес для данного ученого, а кто-то, напротив, готов вы-

полнять для соответствующих чиновников любую работу, в которой те заинтересованы и за которую платят хорошие деньги. Но это уже относится не к международным фондам, а к нашей отечественной реальности.

Кстати, во всем мире получение международных грантов престижно и позитивно сказывается на карьере и авторитете ученого. Но и здесь Россия идет своим путем; здесь преобладают иные критерии оценки труда ученого.

По всем этим причинам невозможно говорить о каких-либо единых критериях грантового финансирования. Они различны в различных фондах: одно дело международные, другое — отечественные; одно дело отечественные научные фонды, другое — фонды, связанные с властными структурами. В научных фондах преобладают все же научные критерии, а в иных — совсем другие, определяемые компетенцией чиновников. Я здесь, разумеется, обхожу вопрос о личностном факторе, иной раз задающем тон в определении грантовой политики. В отечественных фондах он играет большую роль. Однажды меня вывели из экспертного совета одного ведущего научного фонда, так как я не хотел поддерживать исследования, лоббируемые чиновниками этого фонда по причине чисто личных связей. Но это очень большой вопрос, и здесь не хотелось бы его касаться.

**5**

Неразвитость прикладной антропологии в России связана с тем же, с чем неразвитость всех остальных прикладных исследований. В США, где поддерживается и всемерно поощряется частная инициатива (просто в силу того, что так устроен бизнес), антропологи имеют возможность доказать свою востребованность в очень разных сферах жизнедеятельности общества и найти ту или иную поддержку — либо у частных фондов (число американских фондов несопоставимо с числом российских; эти цифры даже невозможно сравнивать), либо у каких-либо бизнесменов или просто богатых людей, склонных к филантропии. Филантропия в США весьма поощряется, это одна из социальных ценностей американского общества.

Кроме того, в силу существующего в США традиционного уважения к человеку и практики признания его общественных заслуг богатые люди нередко поддерживают ученых в надежде оставить свое имя в веках. Ничего подобного в России сегодня нет. Пытаться основывать частные агентства для проведения прикладных исследований означает положить свою жизнь на бесконечную (и часто проигрышную) борьбу с чиновниками. Мало кто готов на это пойти. Ведь хорошо известно, в каком состоянии сегодня в России находится мелкий и средний бизнес. Поэтому практика, развитая в США, пока что не имеет перспектив в России.

## СЕРГЕЙ ШТЫРКОВ

1

Мое экспертное поле — это антропология религии с фокусом на анализе соотносительности религии с другими сильными концептами социального воображения, такими как нация, традиция или народ. Эта формулировка звучит слишком академично даже для меня, ее автора, но в популяризированном виде тема моих исследований может многих заинтересовать. Другое дело, что я не очень к этому стремлюсь — будучи антропологом, обычно имеешь дело с тем, как соотносятся разные стороны социальной реальности, а это не предполагает однозначных суждений и, что самое главное, нормативного подхода к предмету изучения. Наш анализ может показаться «внешнему» читателю бьющим мимо цели — ведь от эксперта ожидается, что тот даст внятные и соотносящиеся с социальными ожиданиями публики оценки и рекомендации: какие секты общественно опасны, должно ли государство поддерживать церковь и т.д.

Мне не очень нравится отвечать на вопросы, заданные в подобной модальности. Для этой работы есть журналисты и политические аналитики. Так что здесь речь идет об общественном разделении труда. В конце концов, ученые и должны говорить на непонятном широкой публике языке и заниматься странными вещами. Другое дело, могут ли они дать широкому читателю сочную эмпирику. И, наверное, в этой области мы можем сделать что-то занимательное, и не только потому, что наш материал сам по себе живописен. «Человек с улицы» способен сам вложить в нарисованные нами картины дополнительные смыслы, ведь религия обычно соотносится в сознании человека с яркими эмоциональными и визуальными образами. Эту способность нашего предмета самонаполняться мы можем использовать, хотя приходится помнить о непреходящей ответственности перед нашими

**Сергей Анатольевич Штырков**  
Музей антропологии  
и этнографии  
им. Петра Великого  
(Кунсткамера) РАН /  
Европейский университет  
в Санкт-Петербурге  
shtyr@eu.spb.ru

информантами, т.е. перед людьми, о которых мы пишем, за те образы, которые возникают под нашим пером.

Если же говорить о практических перспективах письма для широкой публики, то мой краткий опыт работы для газеты (мы с коллегой писали короткие статьи о религиозных праздниках) убедил меня в том, что это адский труд. Энергично написанный текст, деформирующий сложную и не всегда ясную тебе самому эмпирику, мне давался очень туго, и результаты моих опытов, к счастью, удовлетворявшие редактора, меня самого вводили в уныние.

Вопрос же о том, приходилось ли мне объяснять смысл моих исследований неспециалистам, напоминает мне о довольно сложной и не всегда успешной работе по растолкованию своей миссии информантам в ходе проведения полевого исследования. Если ты работаешь, скажем, с новым религиозным движением, в тебе видят или потенциального последователя предлагаемого учения (как вариант «ищущего» — “spiritual seeker”), или же актуального, но замаскированного гонителя и провокатора. В лучшем случае — журналиста. Все твои объяснения могут только укрепить собеседника в его (ее) первоначальном мнении. Тут только смирение и терпение могут помочь — к тебе просто привыкают. И вопрос, что ты здесь делаешь, перестает быть наиважнейшим для построения стратегии и тактики твоего исследования. Но это уже другая тема, не связанная прямо с проблемой социальной значимости нашей работы.

**2**

Второй вопрос сформулирован (и здесь я прошу прощения у его авторов) несколько криво. Теоретическая «высокая» наука обычно противопоставляется эмпирической, а прикладные исследования — фундаментальным, т.е. не претендующим на принесение непосредственной пользы обществу или его отдельному сегменту. В этой ситуации «теоретическая» работа может быть вполне себе прикладной (приведу здесь в качестве примера книгу Валерия Тишкова «Реквием по этносу» [2003]), а эмпирическое исследование может стать вкладом в фундаментальную науку (образцовая этнография раннего Малиновского, переформатировавшая социальную антропологию как дисциплину).

Вопрос о сочетании эмпирики и теории в антропологии (и отчасти социологии) религии — это проблема скорее академического письма. Предполагается, что в исследовании должно быть и то, и другое. Так нас и учат писать в университете и аспирантуре. Конечно, здесь многое зависит от академического темперамента пишущего. Но в общем виде собственно антропологическое исследование (не методологический манифест,

не историографический очерк, не предисловие к сборнику) предполагает соблюдение подобного баланса. Его нарушение в сторону теории часто заканчивается неудачей. Клиффорд Гирц написал много всего интересного про религию, но самое неинтересное его произведение в этой сфере — теоретическая статья «Религия как культурная система» [Geertz 1993] — оказалось хорошим поводом для дискуссии о содержании научного концепта «религия» (хотя само по себе, по моему мнению, оно остается образцом антропологической схоластики).

И здесь хочу подчеркнуть, что в том, как будет расцениваться соотношение теории и эмпирики, многое зависит от дискуссионных традиций, которые характеризуют ту или иную дисциплину и субдисциплину. В археологии чисто теоретические работы как особый жанр мне кажутся более уместными, чем, скажем, в антропологии религии. Впрочем, это может объясняться тем, что в те годы, когда я был археологом, у меня был поставленный Л.С. Клейном вкус к теоретическим построениям, ныне утраченный (надеюсь, не полностью или не навсегда). А в социологии религии, например, теоретическими суждениями может считаться то, что антрополог посчитал бы чуть ли не эмпирическим суждением.

Для работ по религии в сфере социальных наук характерна потребность в теории. Это определяется во многом дисциплинарным наследием — классики социологии и антропологии, берясь за описание и анализ той или иной системы религиозных принципов и ритуалов, имели в виду прояснение проблемы природы религии (Религии). Сейчас сложно найти специалиста, которым двигали бы столь смелые надежды, но склонность к обнаружению общих закономерностей, как мне кажется, осталась. Давать какую-то рамку мы вынуждены в тех случаях, когда хотим обратиться к читателю, который в качестве эмпирического основания своего исследования имеет материал из другого региона или эпохи. Без этого мы сужаем свою аудиторию (к чему, впрочем, мы можем стремиться).

Я приведу пример возникающих в этой связи проблем и перспектив. Некоторое время назад я писал работу по практикам почитания одного святого. Довольно случайно я нашел работу, в которой была описана ситуация из современной Португалии, этнографически очень близкая моему материалу, но я не стал включать обсуждение этой работы в свой текст, т.к. не смог найти оснований для соотнесения своего и португальского материала. А вот работа Питера Брауна по становлению культа святых в поздней античности мне оказалась в самый раз: Браун, мастерски балансируя между эмпирикой и теорией, включил свой конкретный материал в обсуждение соотнесенности

религии элит и «народа» (этому посвящены первые две главы в его книге) [Brown 1981]. Кстати, я не могу сказать с уверенностью, понадобилась ли теоретическая дискуссия Брауну для понимания своего материала или наоборот — материал стал поводом для высказывания суждений общего характера, и это, на мой взгляд, говорит о высоком уровне писательского мастерства мэтра.

Вообще же следует помнить, что для антропологического текста процент теории зачастую определяется тем, насколько в нем представлена не-антропология. Широко известен тот факт, что теоретические модели антропологи заимствуют из других дисциплин. Эволюционисты (и отчасти функционалисты) вдохновлялись биологией, а структуралисты — лингвистикой. О влиянии со стороны социологии и истории и говорить не приходится: оно изменчиво, но в той или иной мере представлено всегда. И мне кажется, что потребность в сбалансированности отношений между теорией и эмпирикой может принимать форму привнесения в антропологию текста другой науки.

Сейчас в качестве главного импортера чужого текста в наш, антропологический, выступает наука история. Она проникает в работы антропологов и как исследовательский метод (многие мои близкие коллеги проводят в архивах не меньше времени, чем в поле), и как источник больших теорий. Напомню в этой связи, что очень влиятельные в современной антропологии фукианские теории социального праксиса, доминирования и насилия изначально проистекали из его сочинений по истории тюрьмы, клиники, психиатрии, а конструктивистская парадигма в изучении этничности и национализма многим обязана историческим работам Бенедикта Андерсена и Эрика Хобсбаума.

Что же касается моей собственной идентичности в системе координат — теория vs практика, то я, конечно, стараюсь «улавливать сиюминутные нужды общества и реагировать на них», как это удачно сформулировано в нашем вопроснике. Однако я не тешу себя надеждой, что могу как-то повлиять на ситуацию вне стен академии. Другими словами, я, пожалуй, отношусь, подобно большинству моих друзей-коллег, к числу «практикующих теоретиков».

Это, конечно, не значит, что мы никчемные трутни. Вспомним хотя бы Эванса-Притчарда, который сумел использовать свой полевой опыт и навыки на благо родины в годы Второй мировой войны, когда ему удалось организовать антиитальянское партизанское движение среди нилотского народа ануак в Эфиопии. Эванс-Притчард вообще проявлял чудеса в области «практической антропологии». Получив финансирование

и специальное задание от британского правительства, он отправился к бунтующим нуэрам, чтобы потом морочить голову своим грантодателям касательно природы воинственности этого африканского племени. А в военное время он, успев попартизанить в Эфиопии, в качестве офицера связи Британского командования работал в Ливии, где собрал интереснейший материал по суфийскому ордену Сануси в Киренаике [Evans-Pritchard 1949]. Завидовать сэру Эдварду я не стал бы: не дай Бог, если нам понадобится применять наши навыки в подобных условиях. Но задуматься здесь есть над чем. Хотя бы об исторических судьбах нашей дисциплины.

**3**

Признаюсь, что меня, как и некоторых других моих коллег, необходимость писать что-то о практических результатах моего исследования заставляет почувствовать себя лицемером: как известно, «наука — это удовлетворение личного любопытства за чужой счет». Когда я пишу что-то в соответствующей графе заявки на грант, я обычно уверенно обещаю представить результаты проекта местным властям и представителям группы, которую я изучаю. И я стараюсь исполнить свое обещание, если чувствую, что мои материалы и выводы кому-то интересны.

Вот, например, мы с моим другом и соавтором Александром Панченко действительно записали коллекцию дисков с интервью одного из лидеров церкви, которая стала пользоваться успехом в самой общине в качестве катехизаторского пособия. А в этом году мне довелось пару раз выступить в роли «официального» фотографа в другой церкви, в которой я пытался прижиться. Соответственно некоторые мои фотоматериалы я передал своим информантам. Но это скорее исключение из правил, т.к. наш материал имеет такие характеристики, которые делают его ненужным и малопонятным для всех, кроме нас самих и наших коллег.

А вообще говоря, мы не так уж часто оказываемся в ситуации столкновения с не понимающими нашу социальную функцию «внешними другими». Про сложности общения с информантами я уже говорил. В этом случае я стараюсь сыграть роль эксперта, который может быть потенциально полезен этой группе (и я действительно собираюсь это сделать, в случае необходимости). Другие ситуации можно разрешить с помощью указания на материальные результаты твоего труда. Лет десять я чаще использовал маску «фиксатора уходящей традиции» (хранитель традиции в терминологии нашего опросника). Сейчас же я иногда говорю, что цель моей работы — написать книгу (или диссертацию), и этого порой оказывается достаточно. Ведь за книгу тебе заплатят деньги, а степень... ну, люди за-



чем-то хотят стать мастерами спорта. То есть говорить о создании нового знания здесь нет необходимости. Кроме того, описание актуальной или какой-то иной реальности признано большим обществом в качестве легитимной сферы деятельности науки (и нас, ее скромных слуг). Фрезеровщик фрезерует, а сотрудник НИИ описывает ритуал, записывает анекдоты и пр. Вопросы «зачем?» и «почему именно это?» относятся к внутренней кухне академии.

4

Возможно, это покажется странным, но я не считаю, что те системы приоритетов, которые мы читаем в объявлениях на грантовые конкурсы, полностью совпадают с критериями, которыми на деле руководствуются эксперты и другие принимающие решения по финансированию того или иного проекта представители фондов. Каждый из нас знает много случаев, когда хорошая заявка, казалось бы, полностью соответствующая условиям конкурса, была отклонена, а слабая — поддержана. Так что я не знаю, кто определяет критерии финансирования науки в соответствующих организациях.

Неизвестны мне и люди (и их мотивы), которые определяют форматы и наполнение больших академических программ, в которые вписаны академические институты в нашей стране. Конечно, есть очевидные моды на те или иные темы, подходы и даже терминологию. И выбор приоритетов во многом зависит от общего идеологического контекста. В каких-то ситуациях ты можешь быть более или менее уверен, что этнические, религиозные и прочие меньшинства принесут тебе кусок хлеба, а где-то ты должен научиться взывать к патриотическим чувствам читателей своей заявки (конечно, если ты точно уверен, что тебе нужны эти деньги). Другими словами, мы здесь имеем дело с многополярным полем идеологического языка. И это поле, кажется, является основной площадкой для неготиации между грантовыми организациями и исследователями.

В условиях этих постоянных переговоров специалистов с фондами (или другими источниками финансирования) может показаться, что те, кто заказывают музыку, должны толкать исполнителей на приземление их деятельности или, другими словами, на приближение их деятельности к нуждам общества. Однако здесь есть свои ограничения, которыми мы и пользуемся, сами часто не осознавая этого. Речь идет о том, что научное знание должно иметь хотя бы видимость независимого источника оценки социальной реальности. И мы, и фонды, и широкая публика, имея опыт наблюдений за судьбами социальных наук в сверхидеологизированных обществах, в которых прагматичное отношение властей к ученому знанию превращало последнее в предмет, зависящий от прямого партийного



указания, не хотим, чтобы антропология или история были уж слишком практичными. В самом деле, никогда антропология (и не только физическая) не была так ориентирована на служение непосредственным интересам общества, пусть и понимаемым довольно специфично, как в гитлеровской Германии.

Наше стремление к пусть относительной, но все же независимости от «злобы дня» подкрепляется стремительной демократизацией гуманитарного знания, в котором благодаря переструктуриации информационного поля в обществе все заметнее и смелее выступают непрофессиональные этнологи, лингвисты и историки<sup>1</sup>. Они основывают свои права на высказывание в том числе и на обвинениях в ангажированности «официальной науки» и своей, соответственно, независимости. Мы должны учитывать и эти упреки, когда формируем образ своей корпорации.

5

Было бы странным, если бы в Соединенных Штатах антропологов не приспособили к полезной для общества деятельности. Прагматика стала чуть ли не религией этой нации, и эффективный менеджмент является неперенным условием не только бизнеса, но любого осмысленного социального действия. У нас (как и в Европе в целом) ситуация несколько иная. Башню из слоновой кости, в которой обитают сотрудники академии, поддерживает многовековая традиция гуманитарной учености, привлекательной именно своей отвлеченностью от суеты бренного мира.

Я осознаю и признаю, что наша деятельность имеет политическое измерение, и даже в стенах академии мы находим, порой сами того не желая, именно политических противников<sup>2</sup>. И неудивительно, что время от времени наша дисциплина отдаёт своих представителей общественным движениям и гражданским инициативам, но они редко возвращаются к рутинным практикам академической жизни, создающим нашу кор-

<sup>1</sup> Московский политолог Анастасия Митрофанова предложила называть подобных авторов «новыми интеллектуалами» [Митрофанова 2008: 87–88], воспользовавшись термином известного специалиста по политическому исламу Оливье Руа [Roa 1994]. Очевидно, что это *bon mot* не лишено ироничности, которая объясняется среди прочего и тем, что люди, попадающие под это определение, являются сугубыми практиками. Это религиозные или национальные активисты, пытающиеся «нашими» методами доказать научную обоснованность своей политической программы. А кто-то из них попросту стремится к коммерческому успеху (впрочем, одно другому не мешает). И вот именно эта прагматичность, а не только отсутствие профессиональных навыков лишает деятельность наших конкурентов легитимности в наших же глазах.

<sup>2</sup> Любопытно, что своеобразие в стиле научных идей и практик своих коллег мы порой склонны объяснять экстраординарными причинами. Мне в этой связи вспоминается курьезная история, произошедшая несколько лет назад. Мой друг-фольклорист на большой конференции выступил с достаточно смелыми, но при этом вполне академическими (т.е. схоластическими) суждениями касательно природы фольклора как эмпирической реальности и научного концепта. Кто-то из публики был задет предложенными идеями и предпочел объяснить позицию выступающего тем, что тот является евреем и потенциальным эмигрантом. Наш фольклорист ни тем, ни другим пока не стал.

поративную идентичность. Конечно, обычно мы не можем точно сказать, когда наш друг и коллега, занявшийся систематической «прикладной антропологией», так сказать, теряет связь с кафедрой (и подлежит отчислению). Иногда такой резкой и безвозвратной смены идентичности не происходит, и мы в силу личных или политических пристрастий продолжаем считать нашего практика коллегой. Однако я обратил внимание вот на какую деталь. Мы со временем начинаем искать оправдание для его (или ее) просчетов в научной работе в том, что считаем его новой сферой деятельности. Понятно, что все мы бываем неубедительными в каких-то своих построениях. Но то, что в подобных случаях мы списываем неудачу близне-го своего на его альтернативную профессиональную идентичность, говорит само за себя.

### Библиография

- Митрофанова А.* Национализм и паранаука // Русский национализм: Социальный и культурный контекст / Сост. М. Ларюэль. М.: Новое литературное обозрение, 2008. С. 87–102.
- Тишков В.А.* Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. М.: Наука, 2003.
- Brown P.* The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity. Chicago, 1981.
- Evans-Pritchard E.E.* The Sanusi of Cyrenaica. Oxford: Clarendon Press, 1949.
- Geertz C.* Religion as a Cultural system // Geertz C. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. L.: Fontana Press, 1993. P. 87–125.
- Roy O.* The Failure of Political Islam. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1994.

### ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

На вопросы редколлегии отвечали специалисты по антропологии, лингвистике, социологии, политологии, истории. Из двадцати одного участника дискуссии «чистыми практиками» позиционируют себя всего несколько человек, что в некоторой степени отражает сложившуюся ситуацию соотношения «теоретиков» и «практиков». Впрочем, в разных дисциплинах и в разных научных традициях сложились свои конфигурации.

1

В ответах на первый вопрос об обосновании нужности и полезности своих занятий в полной мере проявилось разнообразие взглядов. Этот вопрос возникает уже при выборе специальности: *подлинной проблемой является убедить родителей, нередко помогающих учащимся оплачивать обучение, что антропология — столь же легитимный и продуктивный объект инвестиций, обладающий успешными перспективами, как и другие, более «практические» области, такие как инженерное дело, медицина, право или программирование* (Мелисса Калдвелл). В то же время нельзя не согласиться с Юрием Березкиным, что необходимость обоснования полезности работы приходится объяснять прежде всего самому себе: *если становится неинтересно, значит, что-то неправильно*.

Тем не менее ориентация на внешний мир, по мнению Татьяны Черниговской, абсолютно необходима: *иначе сбудется то, что давно уже прогнозировали: общество потеряет интерес к науке окончательно, и налогоплательщики перестанут ее финансировать, считая бессмысленным оплачивать игрушки высоколобых...* Нора Дадвик считает, что вряд ли существуют научные традиции (в нашей сфере), в которых писание работы для немногих избранных является гарантией качества — сужение аудитории ограничивает широту и глубину критики.

Для этнографа, антрополога, социолога существует ситуация работы в поле, в которой они не только могут, но и должны объяснять характер своих занятий, обосновывать их необходимость и пытаться сделать информанта в какой-то степени единомышленником. *При этом все равно приходится смириться с тем, что степень откровенности информантов и уровень их доверия к собирателю будут относительно невелики до тех пор, пока ваш собеседник не убедится в том, что вам действительно по-человечески интересно то, о чем он вам рассказывает* (Андрей Гопорков).

Несколько иную позицию занимает Александр Марков: *Вопрос о том, интересны ли специальные исследования кому-то кроме специалистов, вряд ли может получить однозначный ответ, пока эти исследования по инерции оцениваются не как образующие общее поле производства знания, а как притчи или поучения, в каждом из которых нужно уметь что-то «извлечь для себя»*. Наверное, они и будут оцениваться как притчи до тех пор, пока мы не сможем как-то иначе преподнести свое знание. Впрочем, даже в случае кардинальной перестройки отношений с внешним миром остаются сомнения в принципиальной возможности полного понимания. По мнению Николая Вахтина, мы вряд ли можем объяснить смысл наших разысканий неспециалисту. *Точнее, тут ловушка в слове «объяснить»: известно ведь,*

что есть три уровня «понимания»: когда тебе кажется, что ты понял, когда ты можешь пересказать услышанное другому и, наконец, когда ты можешь раскритиковать услышанное, найти ошибки в рассуждениях. Для неспециалиста доступен, мне кажется, в лучшем случае только первый уровень: ему кажется, что он ухватил смысл. Соответственно, даже если мне удалось «объяснить» смысл своей работы неспециалисту, я не могу рассчитывать на то, что этот неспециалист потом, рассказывая дальше то, что он, как ему кажется, понял, не исказит невольно смысл. Действительно, последствия такого искажения могут быть разными — от фантастических измышлений со ссылками на научную литературу (что можно наблюдать в так называемой научной публицистике), до более серьезных случаев фальсификации сведений опять-таки под прикрытием авторитета научных исследований.

2

Почему-то считается, что прикладная наука — явление нового времени. В антропологии это явно не так. По сути дела, этнография (а позже и антропология) обязаны своим возникновением практическим нуждам. Как справедливо пишет Мелисса Калдвелл, исследования Франца Боаса, Э. Эванса-Причарда, сэра Эдмунда Лича, Рут Бенедикт и Мери Дуглас обладали значимостью не только для ученых, интересовавшихся теоретическими проблемами, но и для правительственных чиновников и бюрократов, которые были озабочены такими вопросами, как политическая стабильность в местных сообществах и внутренняя политика. По мнению Натальи Новиковой, примерно то же самое можно сказать и о российской этнографии, в которой единство теоретического и практического были заложены в первые десятилетия XX в. Павел Романов и Елена Ярская-Смирнова вообще считают, что *классическая российская этнография и советская социология сложились как практико-ориентированные проекты.*

Однако в настоящее время, по мнению Джулии Хеммент, приходится говорить о существенном разрыве, который остается институционально оформленным. В самих программах по антропологии проводится четкая демаркация. О стремлении преодолеть этот разрыв в Соединенных Штатах свидетельствуют относительно недавно прошедшие дискуссии о «публичной» антропологии, антропологии, «интересной для общества», «ангажированной» или «активистской» антропологии.

Само разделение на практическое и теоретическое некоторыми авторами ставится под сомнение. *Прикладное исследование — это не приземленная наука. Это концентрация теоретического потенциала и опыта науки для решения одной конкретной задачи. Никакого разделения здесь нет и быть не может* (Иван

Гринько). У теоретических и прикладных исследований одна цель — *объяснить смысл явления, его причины и функции* (Андрей Топорков). Аналогичного мнения придерживается и Сергей Штырков, который считает себя «практикующим теоретиком».

Истинно значительные идеи, полагает Татьяна Черниговская, выдвигаются исследователями, которые не задумываются об их прикладном значении. *Фарадей, занимаясь вполне отвлеченными вещами, ни секунды, я полагаю, не думал о том, какую практическую пользу из этого можно извлечь. Чем это кончилось — мы знаем. Тем более о прикладных аспектах науки не размышляют «Перельманы». Что не отменяет абсолютной ценности «высокой науки», которая в итоге часто дает и практические плоды. <...> Знание — самоценно.* Близка к этому и позиция Ревекки Фрумкиной: *Я всегда настаиваю на том, что занятия наукой как таковые относятся к ценностно-ориентированной деятельности в широком смысле слова: 1) наука ищет ответы на собственные вопросы; 2) вопросы, поставленные жизнью, должны быть преобразованы в научные задачи, иначе наука не работает.* В то же время Владимир Гельман считает, что в социальных науках (в том числе в политической науке) существует проблема *ценностной нейтральности исследований, не имеющая на практике удовлетворительного решения.*

Естественно, прикладные исследования и категорию полезного можно понимать по-разному. Павел Романов и Елена Ярская-Смирнова считают, что в социальных науках, в частности в антропологии, полезность знания понимается упрощенно: *С одной стороны, полезно то, что приносит преимущества (доход, безопасность или власть) самим ученым (в таких случаях их величают «экспертами»). С другой стороны, полезными знаниями часто называют такие сведения, которые а) предельно очевидны и понятны (и подчас ожидаемы) для «заказчика» или пользователя; б) не противоречат ценностям и убеждениям таких пользователей; в) оправдывают их действия или намерения; г) могут быть применены для продвижения каких-то уже задуманных планов и действий».*

Что касается пользы для самого ученого, то, как считает Николай Вахтин, прикладные исследования вряд ли способствуют академической карьере, скорее наоборот, отвлекают *от того, что реально учитывается в его карьерном росте.* К тому же ученый, увлекшийся «практической» стороной исследований, например написанием школьных учебников или популярных книг, рискует довольно быстро растерять научную репутацию среди коллег. Собственно, об этом же говорит и Сергей Штырков: *то, что в подобных случаях мы списываем неудачу ближнего своего на его*

*альтернативную профессиональную идентичность, говорит само за себя.*

Такое видение исследований, ориентированных на практические результаты, характерно не только для российских ученых. Нора Дадвик, пожалуй, еще более категорична: *Реальность такова, что немалая часть прикладной или этнографической работы является «быстрой и грязной» версией исследования, проводимого в академическом мире.*

Эффект от наших прикладных исследований во «внешнем» мире тоже неоднозначен. Разумеется, можно привести примеры действий исследователя на благо своих информантов, о чем пишет Сергей Штырков (но и здесь, по мнению Андрея Топоркова, присутствуют сложности). Еще более впечатляющие примеры (результаты взаимодействия антропологов и врачей) приводит Мелисса Калдвелл. В ответах Натальи Новиковой показано, в каких областях прикладная антропология может быть востребована сегодня в России. Однако неизбежно возникают и вопросы, сформулированные Павлом Романовым и Еленой Ярской-Смирновой: *Для кого и для чего мы предоставляем новые знания и познавательные инструменты? Для более эффективного, тонкого и изощренного управления обществом или для лучшего понимания между людьми? Для политиков, бизнеса и полицейских — или для обычных людей? Для системы или для жизненного мира? В истории науки известны периоды, когда антропологи и социологи приносили ощутимую пользу менеджерам предприятий, военным ведомствам — и профсоюзам, правозащитникам, экологическому и другим социальным движениям. Стоит ли говорить, какие именно проекты лучше финансируются и где положение исследователя безопаснее?* (ср. сходные размышления Игоря Кузнецова).

Но, даже если предполагаемый эффект от прикладных исследований может оказаться во благо людей, у нас пока не выработан механизм реализации результатов теоретической работы, не существует той технологии, которая призвана ответить на вопрос, как именно теоретические результаты, открытия и прорывы могут быть использованы практически (Николай Вахтин). Эта область, лежащая между теоретическим знанием и практическим применением, еще только ждет своего заполнения, хотя уже появляются структуры, реализующие сходные задачи (Институт проблем правоприменения в Европейском университете в Санкт-Петербурге, «Этноконсалтинг», исполнительным директором которого является Наталья Новикова, и др.).

Особого внимания заслуживает теоретическая рефлексия над соотношением прикладного и теоретического, которая принадлежит Виктору Вахштайну. Наш коллега не без изящества по-

казывает, что сама граница прикладного и теоретического социально сконструирована *при помощи нехитрого набора территориальных, дисциплинарных, политических оппозиций* и что проводимая граница всегда асимметрична, поскольку наблюдатель (демаркатор) всегда занимает позицию либо теоретика, либо практика. Сам автор занимает позицию теоретика и считает ее единственно возможной в этой ситуации: *Я не верю в самостоятельную ценность прикладных исследований для науки (что не отрицает их ценности для народного хозяйства, государственного управления и повседневной жизни). Я также сомневаюсь в существовании «эмпирического материала» или «установленных фактов» как чего-то существующего вне теоретических допущений исследователя (сделанных имплицитно или эксплицитно). Обязательная к заполнению графа «практическая значимость исследования» не воспринимается иначе как повод для стеба.*

Наверное, не случайно практикующий социолог Татьяна Протасенко пишет: *Наше сообщество фактически разделено, и существует некий антагонизм теоретиков и прикладников, в котором обе эти группы друг друга порой недолюбливают.*

Не остался без ответов и вопрос о поколенческих ориентациях. Виктор Шнирельман считает, что старшее поколение российских этнографов и сейчас сохранило чувство отторжения от теории, которая ассоциировалась с марксизмом-ленинизмом. Молодое поколение свободно от этих предубеждений, однако естественная преемственность оказалась утраченной, и образовавшийся разрыв приходится заполнять заново. О равнодушии старшего поколения исторической науки к достижениям теоретической мысли говорит и Давид Раскин. Молодое поколение, по его словам, демонстрирует другую крайность, что, вероятно, нужно понимать как чрезмерное увлечение теоретическими построениями. Совершенно иначе поколенческие предпочтения видятся Андрею Топоркову. По его мнению, именно старшее поколение (гуманитарии второй половины XX в., которые нас уже покинули) выдвигало «сильные» теории, а нынешнее молодое поколение занято исключительно эмпирическими темами и вообще не имеет представления о том, что помимо этого может быть что-то другое. Столь разные представления о поколенческих ориентациях у представителей старшего поколения могут быть объяснены разве что различиями в установках тех представителей молодого поколения, с которыми общаются авторы ответов.

3

На вопрос о том, как поступать с пресловутым пунктом о «практической значимости» при написании заявок на гранты и в авторефератах, ответы уже частично были (Николай Вах-



тин, Виктор Вахштайн). Это вовсе не российская специфика. Мелисса Калдвелл пишет о том, что и некоторые американские фонды (например, Национальный научный фонд, Международный комитет по исследованиям и обмену IREX) требуют (в несколько менее категоричной форме) при подаче заявок указать возможный социальный эффект предполагаемого исследования. Рецепты заполнения этой графы давно известны: *Практическое значение признается за диссертацией, которую можно популяризовать, использовать в преподавании, черпать из нее поучительные примеры и таким образом превращать в часть журналистского освещения «жизненного мира».* Итак, **практическое значение** заменяет в российских ситуациях «индекс цитирования», востребованность работы другими учеными и преподавателями: *но не ради дальнейшей дифференциации и очищения научного знания, а ради сближения знания с миром мнения* (Александр Марков). Сравнение практического значения с индексом цитирования несколько неожиданное, т.к. они имеют, как правило, разных «потребителей».

Редкое созвучие обнаружилось в ответах на вопрос о позиционировании себя «для внешнего взгляда». Большинство считает наиболее приемлемой для исследователя позицию эксперта (Иван Гринько, Александр Марков, Виктор Шнирельман и др.). Но эта «маска» отнюдь не универсальна. Все зависит от того, с кем приходится общаться с позиции ученого. *При написании рецензий и на конференциях — роль эксперта, знатока, в собственно научной работе — новое знание, в общении со студентами — хранитель традиции* (Андрей Топорков). Несколько иной набор позиций у Ревекки Фрумкиной: *Я вынуждена выступать не столько в роли хранителя определенной традиции, сколько в роли человека, настаивающего на разделении науки и эссеистики, науки и публицистики и т.п. А также, казалось бы, в несвойственной моему почтенному возрасту роли ниспровергателя авторитетов — точнее, авторитетов плохо понятых, а то и вовсе не прочитанных, зато модных.* За пределы перечисленного набора «масок» вышла и Валентина Узунова: *Если мне задан маршрут движения к практическому преломлению слов в дела, то я прикинусь толмачом* (вспоминаются размышления Клиффорда Гирца).

4

Вопросы о критериях выделения грантового финансирования и отношениях с фондами рассматриваются в полученных ответах без лишней эмоциональности. Более или менее общее мнение состоит в том, что система грантов имеет свои плюсы и минусы. К плюсам относится сама возможность такого финансирования коллективных и индивидуальных исследований, которая предполагает необходимость четко формулировать свои исследовательские задачи. К минусам — необходимость



тратить много времени и сил на заявки и отчеты, а также краткосрочность проектов — времени, отпущенного на исследование, явно недостаточно для больших исследований (Юрий Березкин, Джулия Хеммент и др.). Естественно, миф о международных фондах, диктующих результаты исследований, рассматривается нашими авторами именно как миф. По словам Виктора Шнирельмана, *ученые проводят свои исследования вовсе не для того, чтобы удовлетворить запросы того или иного фонда. Мало того, фонд нередко указывает, что не несет ответственности за полученные ученым выводы. Поэтому связь здесь прямо противоположная: инициатива исходит от ученого, а не от фонда. Именно ученый, заинтересованный в той или иной тематике, ищет соответствующий фонд, где такая тематика может найти поддержку.* Того же мнения придерживаются Павел Романов и Елена Ярская-Смирнова: *В любом случае хотелось бы подчеркнуть, что тот научный продукт, который в конечном счете уходит с рабочего стола ученого, чью работу поддержали через грант, — это целиком авторский результат, со всеми плюсами и минусами индивидуального взгляда, — а не фонда и не донора.* Другое дело, что специализированных (например, антропологических) фондов сравнительно мало и приходится обращаться в фонды, чьи цели, пусть даже благие, например *построение гражданского общества в России, лежат за пределами этой профессии* (Игорь Кузнецов). Любопытно, что известный мотив «кто платит, тот музыку и заказывает» встречается именно у тех, кто позиционирует себя как «практика» (Татьяна Протасенко). Вполне возможно, что исследования, жестко ориентированные на практические результаты, в большей степени зависят от донора, нежели «теоретические».

Варианты отношений между учеными и фондами, по мнению Николая Вахтина, можно представить *в виде некоторой шкалы, на одном конце которой царит мир и согласие, а на другом — нечто противоположное.* Он описывает ситуацию, когда ученые и чиновники совместно вырабатывали направления, но этот идеальный случай явно нетипичен, особенно для российской действительности. По мнению Давида Раскина, такое под силу только самоорганизующемуся научному сообществу, а не иерархическим институтам, *в рамках которых всегда будут преобладать интересы верхушки академической иерархии.* Подробно особенности конкурсного финансирования исследовательских проектов в российских академических институтах рассмотрены в ответе Бориса Винера, который сформулировал конкретные предложения изменения сложившейся ситуации. Представляется, что их реализация могла бы существенно изменить отношение российских ученых к конкурсным исследованиям. Так или иначе, без помощи фондов сейчас не обойтись, и по-

казательно, что только один автор (Ревекка Фрумкина) испытывает желание *не иметь дела с этой системой ни в каком качестве*, а если и иметь, то не с российскими фондами. Думается, что с этим уточнением согласятся практически все российские участники обсуждения.

5

Последний вопрос (о причинах неразвитости прикладной антропологии в России) сформулирован только по отношению к одной дисциплине, но ситуация в ней не уникальна. Примерно то же можно сказать если не о социологии, то о лингвистике, истории и других дисциплинах. Возможности ненаучной карьеры весьма ограничены. Тот список возможностей в США, который приводит Мелисса Калдвелл (*право, медицина, политика, финансы, маркетинг, менеджмент, журналистика, кино, суды, криминальные расследования, социальное обеспечение, музеи, а также работа в любых государственных учреждениях — среди многих прочих возможностей*), кажется фантастическим. Можно представить себе выпускника факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге работающим в музейных учреждениях, в сфере кино, журналистике, с некоторым напряжением — в социальной сфере, но не в областях права, финансов, маркетинга, а тем более в сфере криминальных расследований. Дело здесь не только в общей неразвитости (*кособокости*, по словам Ревекки Фрумкиной) социальных и гуманитарных наук (и антропологии в частности), о чем пишут Николай Вахтин, Виктор Шнирельман и другие, но и в традиционной недооценке научного знания со стороны государственных структур, бизнес-сообщества, да и всего остального общества. Однако рано или поздно спрос на антропологические знания возникнет, и в таком случае остается лишь надеяться (по примеру Владимира Гельмана), что в числе тех, кто сможет достойно представлять наши области знания, окажутся и наши ученики.

Редколлегия благодарна всем участникам обсуждения.

*Альберт Байбурин*